This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

PG
3467
N4P6
1903

E53530

np 12

LIBRAIRIE
PETITE BIBLIOTHÈQUE
des Auteurs Etrangers
S.A.R.L. (Capital 1.000.000 F.
43, Rue Le Marois, PARIS 16e
R. Cal. Seine 365.526 B

9.16

Вас. Ив. Немировичъ-Данченко

Nemirovitch-Dantchenko, V. I.

Подъ звонъ колоколовъ.

Романъ.

LIBRAIRIE
PETITE BIBLIOTHÈQUE
des Auteurs Etrangers
S.A.R.L. Capital 1.500.000 F.
43, Rue Le Marois, PARIS 16e
R.C. Seine 365.520 B

Безплатн. прилож. къ журн. „Природа и Люди“ за 1904

PG3467
N416
1903

ДОЗВОЛЕНО ЦЕНЗУРОЮ. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 8 НОЯБРЯ 1903 ГОДА.

ТИПОГРАФІЯ Ц. П. СОЙКИНА, С.-ПЕТЕРБУРГЪ, СТРЕМЯННАЯ, 12.

LIBRAIRIE
PETITE BIBLIOTHÈQUE
des Auteurs Étrangers
S.A.R. Capital-Intérêt 4.000.000 F.
43, Rue Le Marois, PARIS (7e)
R.C. Seine 365.530

I.

Свернувшійся клубкомъ котенокъ потянулся, замурлыкалъ и зажмурился на солнце, залившее уже горячимъ золотомъ простенькую комнату сквозь неплотно спущенную занавѣску. Выбѣленныя стѣны, некрашенный полъ, зеленыя ширмы да умывальникъ въ углу. Было такъ тихо, что, выпрыгнувъ изъ корзины, гдѣ заботливая рука устроила ему покойное гнѣздышко, котенокъ самъ испугался надѣланнаго имъ шума, распушилъ хвостъ, ощетинился, выгнулъ спину верблюдомъ и нѣсколько шаговъ проскакалъ бочкомъ-бочкомъ на всѣхъ лапкахъ разомъ. Успокоясь, онъ хотѣлъ было поиграть съ огнистымъ кружкомъ луча, дрожавшимъ на полу, дотронулся до него мордочкой, при чемъ она сама загорѣлась золотистымъ свѣтомъ, но, точно сообразивъ, что не стоитъ, и разслышавъ знакомое мѣрное дыханіе, отправился за ширму. Съ узенькой кровати свѣшивалось одѣяло. Котенокъ взобрался на него и пошелъ обычною дорогой къ изголовью спавшей дѣвушки. Ткнулся ей въ подбородокъ, запѣлъ что-то такое ласковое, лизнулъ ей кончикъ носа и, когда та на него фыркнула, потрогалъ его мягкими лапками: что это де за мудреная штука такая? Потомъ онъ весьма удобно расположился у нея на шеѣ и опять запѣлъ, да такъ сонно, что открывшая было большіе голубые глаза его пріятельница вновь ихъ сомкнула и и задремала еще крѣпче. Изъ другой комнаты чуть слышалось тиканье стѣнныхъ часовъ. Потомъ къ нимъ при-

соединилось шуршанье мягкихъ туфель по полу. Скоро пріотворилась дверь, и сюда вошла маленькая толстая старушка въ бѣлой юбкѣ и ночной кофтѣ. Зѣвая и крестя ротъ, она подняла занавѣску и зажмурилась, обданная слѣпящимъ блескомъ и тепломъ.

— Вѣрочка!..—шопотомъ спросила она, — Вѣрочка, спишь? Не притворяйся, не притворяйся. Я, вѣдь, все вижу.

Но за нее мурлыкала только Маруська, еще привольнѣе свѣшивая лапки и жмурясь на старушку.

— Ишь, обѣ вмѣстѣ!—засмѣялась вошедшая, пощекотала голову котенку и поправила бѣлокорую прядь волосъ, выбившуюся на подушку изъ-подъ щеки ровно дышавшей дѣвушки.

— И жарко-же!—шептала старушка, опять перейдя къ окну.—Что ужъ!..

Она распахнула его настежъ. Точно ожидавшіе этого мгновенія колокола въ монастырѣ насупротивъ—проснулись. Громкій и гулкій ударъ прокатился съ высоты, всколыхнулъ застоявшійся воздухъ, медленно и торжественно проплылъ мимо небольшого домика; за нимъ—другой, третій. Будто играя въ ихъ густыхъ и медлительныхъ волнахъ, пронесся перезвонъ болѣе мелкихъ.—Казалось, они всю эту комнату наполнили своими веселыми, радостными звуками, отражаясь отъ ея угловъ и замирая подъ потолкомъ.

— Неужели такъ поздно уже?—послышалось за ширмой.—Это къ ранней обѣдни ударили?

— Нѣтъ, къ вечернѣ! А ты какъ думала? Ты полагала, они тебя ждать будутъ?

— Заспалась. Я бы давно встала—да пришла Маруська, жаль было ее тревожить. А потомъ она меня замурлыкала, и сама я заснула. Сонъ какой я видѣла, бабушка, утромъ ужъ..

— Ну, сказывай, баловница, что тамъ у тебя еще такое?

Внучка ея уже сидѣла на кровати, свѣсивъ внизъ

босыя ножки и гладя котенка, потягивавшагося у нея на колѣняхъ.

— Да брось ты Маруську. Ишь, только и знаетъ, что жмурится. Ну, что ты тамъ видѣла?

— Будто я дописала картину, и мать Варлаама приказала ее повѣсить—куда-бы ты думала? Навѣрное не угадаешь!

— Ну, въ ризницу, что-ли? Въ ризницу-то слишкомъ лестно... Развѣ во снѣ—не доросла ты еще до этого.

— Нѣтъ, не въ ризницу, и не въ церковь... А ты подумай!

— Къ себѣ въ келлію? Только у нея въ келліи кромѣ митрополитовъ никого нѣтъ.

— И опять не угадала!—смѣялась внучка, показывая бѣлые и ровные зубы.

— Ну, ужъ и не знаю, куда еще. Не въ трапезную же... Въ школу развѣ?

— На колокольню!

— Къ грачамъ и воронамъ! Такъ. По картинѣ и честь. Самое настоящее тебѣ мѣсто. А что много вчера работала?

— Какъ же, мать Клеопатру всю дописала. Кажется, выходитъ у меня. Бабушка Капитолина хвалила; говоритъ—какъ живая. Только что не дышетъ...

Дѣвушка, наконецъ, отыскала ногами туфли, надѣла ихъ, и жмурясь, и зѣвая, пошла къ окну. Солнце всю ее охватило свѣтомъ, заиграло въ волнахъ ея свѣтлорусыхъ—свѣтлѣе лица—волосъ, безпорядочно падавшихъ на спину и на плечи. Ея румяныя большія губы безсознательно улыбались чему-то творившемуся будто бы въ ней самой.

— Безпоряха ты, вотъ что!—недовольно смотрѣла на нее старушка.—Безпоряха была и есть. Ничему не научилась.

— За что ты это бранишься?

— Что ужъ!.. Какъ ужъ тебя и не бранить! Этакую

красу глупой предоставилъ Господь, а ты не бережешь... Лѣнь было на ночь заплести косы-то... Что у тебя отъ волосъ останется? Начнешь чесать и рвешь. Каждый разъ на гребнѣ добрая пригоршня ихъ. А все лѣнь, все лѣнь.

— Лѣнь! — засмѣялась внучка.—Тебѣ-же, бабушка, лучше, по крайности, есть, на что поворчать.

— Вотъ я матери Варлаамѣ разскажу про всѣ твои дѣла. Посмотримъ, какъ заступница твоя похвалитъ тебя за это. Сегодня ужъ я за тобой прибирала-прибирала. Краски въ одномъ мѣстѣ, бумага въ другомъ, кисти въ третьемъ. Платокъ подъ диваномъ въ сору. Это развѣ порядокъ? Что къ тебѣ горничныя поставлены, что-ли?

— Платокъ—это Маруська затащила.

И, схвативъ котенка на руки, она коснулась лица старушки его круглою головкой съ крошечными усиками.

— На, возьми ее... Это она все.

— Ладно. не юли... Обѣимъ вамъ одна цѣна у меня: что Маруськѣ, что тебѣ. По разуму-то равны.

А рука у самой такъ и тянется пощекотать котенка.

— Что, шельма, а? Сливокъ хочешь?

Притворявшаяся до сихъ поръ ко всему равнодушною, Маруська разомъ почувствовала, что это свыше ея силъ. При словѣ «сливки» она соскочила на полъ и побѣжала, задравъ хвостъ и оглядываясь, къ дверямъ.

— Ну, одѣвайся, да иди чай пить!—обернулась бабушка, уходя за котенкомъ.

Дѣвушка лѣниво подошла къ окну. Все за нимъ было такъ знакомо ей, такъ срослось съ ея жизнью. Иного міра, неоглядно въ даль и ширь раскидывавшагося за стѣнами монастыря — она не знала, не думала о немъ, какъ не думаетъ дикарь-островитянинъ: есть-ли еще живые люди за голубымъ просторомъ океана, охватившаго отовсюду клочекъ земли, на которомъ онъ родился и выросъ? Домикъ, гдѣ жила Вѣрочка, точно грибъ, поднялся въ тѣни монастырскихъ стѣнъ. Его можно было еще

различить издали, когда солнце становилось высоко. Но раннимъ утромъ, когда оно затопляло свѣтомъ высокія стѣны, красныя башни, бѣлыя колокольни, золотые и голубые купола обители—его, пожалуй, и не разсмотрѣлъ бы никто, какъ ласточкино гнѣздо у чужой крозли. Когда солнце заходило за монастырь, и онъ, съ соборомъ, церквами, зубцами стѣнъ, тонкими силуэтами колоколенъ, вырѣзывался темный на огнистомъ маревѣ заката, — въ густой тѣни, отбрасываемой этою твердыней, и совсѣмъ нельзя было замѣтить крошечнаго домика «Вѣрочкиной бабушки». Какъ домъ этотъ сливался съ громадою обители, такъ и все существованіе дѣвушки тонуло въ ней. Она родилась, болѣла, выздоравливала, играла, смѣялась и плакала, думала и училась, вставала и ложилась спать въ ея тѣни, подъ звонъ ея колоколовъ. Самой себѣ иногда казалась она одною изъ тѣхъ птицъ, что жили на колокольняхъ, въ бойницахъ стѣнъ, подъ карнизами башенъ, наполняя окрестную тишину стрекотомъ и чиликаньемъ и смолкая только, когда властно говорили колокола...

Но какъ ни сжилась Вѣрочка съ этою обителью, какъ ни привыкла видѣть ее то подъ чистымъ небомъ, вѣявшимъ благоговѣйною тишиною и кроткимъ миромъ, то подъ сѣдыми грозовыми тучами, отзывавшимися громами и молніями ударамъ ея колоколовъ,—всякій разъ, подходя къ окну, она съ невольною любовью, несознанной, но теплившейся въ ея душѣ, смотрѣла на эти древнія стѣны. Особенно теперь, когда весна дышала ей въ лицо такимъ чарующимъ ароматомъ.

«Откуда это?»—задумывалась она. «И жасминами, и розами... Вотъ и гіацинты слышны. Должно быть, у игуменьи!»

Въ тонкой струѣ этого благоуханія, нѣтъ-нѣтъ, да и пахнетъ свѣжими, только что развернувшимися березовыми почками. Листва еще мелка. Въ ней такъ ясно сквозятъ бѣлые стволы. Тонкія вѣтки чуть подернулись ей. Кажется, эти крохотные листочки просыпались откуда-то сверху, съ неба, и до перваго порыва вѣтра уцѣ-

пились за деревья. Солнце въ нихъ играетъ золотистыми отсвѣтами, и трепещутъ подъ нимъ березки первою веселою дрожью обновившейся жизни. Ласково, мягко и нѣжно шумятъ онѣ, когда вокругъ сколышется теплый воздухъ. Это не лѣтняя мощь, не осенній сухой шелестъ мертвѣющаго листа—это дѣтскій лепетъ, радостный лепетъ зелени, только что родившейся изъ своихъ темно-красныхъ почекъ... А какъ красивы древнія стѣны за сквозными березами, старыя почтенныя стѣны, въ щеляхъ и трещинахъ которыхъ поднялось всякое быліе, а между зубцами распустились цѣлыя деревца отъ сѣмянъ, когда-то занесенныхъ вѣтромъ!..

Темная арка воротъ съ золотымъ крестомъ вверху. Вѣра знаетъ, что сидитъ теперь и дремлетъ там мать Степанида, что она и сегодня ласково улыбнется дѣвушкѣ и спроситъ ее, какъ спрашивала вчера, третьяго дня, годъ, десять лѣтъ назадъ.

— Ну, что, все прыгаешь, стрекоза? Прыгай, прыгай, Господь съ тобой!

И при этомъ вздохнетъ, помянетъ про какое-то «искушеніе» и опять задремлетъ.

Пять большихъ куполовъ соборнаго храма. Подъ его высокими сводами гулко звучатъ голоса, свѣжіе и чистые! И какіе это купола! Есть-ли гдѣ въ другомъ мѣстѣ такіе? Какъ они красивы сегодня! Темносиніе со звѣздами и посреди ихъ, выше всѣхъ — главный, золотой, какъ пламя, горящій подъ солнцемъ. Тонкіе сквозные кресты на нихъ. Съ крестовъ висятъ на золотыхъ цѣпяхъ золотые шары. Ребенкомъ она вѣрила, что это яйца чудесныхъ райскихъ птицъ; каждое Свѣтлое Христово Воскресенье птенцы проклевываютъ серебряными носиками золотую скорлупу—и съ первымъ ударомъ колокола, красныя, какъ огонь, вылетаютъ отсюда во всѣ концы міра—сообщая всѣмъ: и звѣрю дикому, и пернатому хищнику-соколу, и ласточкѣ кроткой, и сѣрому воробью одну великую вѣсть: «Христосъ Воскресъ...» И тотчасъ-же невѣдомые ангелы сходятъ съ небесъ и, вмѣсто старыхъ,

проклеванныхъ, вѣшаютъ новыя яйца съ чудесными птицами. Качаетъ и баюкаетъ ихъ вѣтеръ, цѣлый годъ кропитъ ихъ дождь, сушитъ и грѣетъ солнце, будятъ по утрамъ гулкіе колокола монастырскіе...

Зеленыя кровли подъ куполами. По краямъ ихъ на теплѣ усѣлись голуби. Сорвется одинъ, почертитъ-почертитъ въ воздухѣ, залетитъ въ какую-нибудь бойницу и опять назадъ. Вонъ церковь Варвары Великомученицы,— ея пеструю колоколенку грачи любятъ. Гнѣзда ихъ дальше въ рощѣ, что зеленымъ облакомъ заполонила лощину. Черными шапками торчатъ они тамъ на верхушкахъ. Днемъ — грачи здѣсь, и когда рослая, рябая и корявая, сильная мать Митрофанія раскачиваетъ тяжелый и ржавый языкъ толстаго стараго колокола, чтобы сильнѣе ударить имъ въ звонко гремящій металлъ—пернатые посѣтители «Варваринской вышки» даже съ мѣста не трогаются, зная, что ихъ здѣсь никто не обидитъ. Какъ только подходитъ весна—грачи первые слетаются сюда — слушать молча, какъ заговоритъ и потомъ замретъ бронзовая пасть, а потомъ они загомонятъ и завозятся между красными и синими витыми колонками, въ просвѣтахъ и подъ выбѣленными сводами «вышки», гдѣ перекрестились потрескавшіяся балки, поддерживая тѣло стараго колокола. А вонъ главная монастырская колокольня,—она точно пронизала синеву неба. Сквозная! Амбразура противъ амбразуры приходится, въ нихъ лазурь видна, точно синія стекла вставлены. Внизу самый громадный колоколъ виситъ. Вѣра помнитъ, какъ въ дѣтствѣ ей страшно было за мать Агнію, живующую подъ колоколомъ въ крохотной келлійкѣ. А вдругъ онъ сорвется, пробьетъ потолокъ ея и, рухнувъ, придавитъ ее къ землѣ своимъ тяжкимъ бронзовымъ тѣломъ. Въ него звонятъ рѣдко, только въ великіе праздники,—когда всѣ должны или радоваться, или печалиться: когда птица—и та чувствуетъ. Сказывала ей Агнія, что, услышавъ его тягучій ударъ подъ землей, — всѣ инокини, схороненныя на монастырскомъ кладбищѣ, гдѣ такъ густа трава, и такъ хорошо пахнетъ

шиповникъ, начинаютъ подъ своими насыпями тихо шептать молитвы. Если прилечь въ это время да приложить ухо къ землѣ—то можно разслышать глубоко-глубоко не только гудѣніе безчисленныхъ устъ, но и шорохъ: подымаются въ гробахъ костлявыя руки и осѣняютъ крестнымъ знаменіемъ истлѣвшія лица. Замретъ главный колоколъ—и опять заснутъ до слѣдующаго великаго праздника схороненныя инокини — черныя, въ черныхъ гробахъ подъ землею...

— Ну, что же ты, скоро?—показалась въ дверяхъ бабушка.—Да ты еще, срамница, и не одѣта! Ай, да, ну! Все въ своей рубашонкѣ стоитъ! Что ты, Вѣрка? Думаешь, самоваръ долго для тебя кипѣть будетъ — и не воображай. Позову Устинью и велю ей унести.

— Я сейчасъ, сейчасъ!

И, бросивъ на монастырь послѣдній взглядъ, Вѣра пошла умываться.

— То-то сейчасъ. Вѣдь ужъ, кажется, большая. Восемнадцатый годокъ пошелъ—безстыдница этакая.

— Ужъ и большая! Въ обители «бабушки» меня за младенца считаютъ.

— Избаловали онѣ тебя. По уму-то ты, милая—младенецъ. Ты думаешь—картины рисуешь, такъ и хорошо,—нѣтъ, погоди. — Далеко еще воробью до сороки бѣлобокой!.. Ну, скорѣй, скорѣй! Нечего полоскаться-то. Рада, что до воды добралась. Утка настоящая. Вонъ, должно быть, отъ матери Капитолины бѣличка бѣжитъ къ тебѣ. Взглянь-ко, мнѣ не разсмотрѣть.

— Да, это Маша и есть.

— Ишь! А ты бы спала до сихъ поръ.

У крыльца хлопнула дверь. Въ комнатахъ послышались быстрые шаги.

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!—пѣвучимъ голосомъ сказался кто-то за дверью.

— Маша — ты?.. Входи скорѣе... Чего ты въ экую рань?

— Спаси васъ Богъ, матушка!..—поклонилась та ста-

рушкѣ.—Христосъ съ тобою, Вѣра... Къ тебѣ я отъ матушки Капитолины. Спосылала скорѣй. Сейчасъ чай будетъ пить—отъ обѣдни пришла, такъ звала безпремѣнно. Пусть, говоритъ, придетъ, мы новую банку крыжовнику починаемъ. Опять же просфоры сегодня удались нашей старицѣ скусныя-скусныя.

— Да ты отдохни, Маша,—смѣялась Вѣрочка.—Ишь, какъ заторопилась вся. Даже духъ захватило.

— И впрямь, умница ты моя... Я вѣдь, сломя голову, бѣжала. Мать Степанида въ воротахъ-то кричитъ мнѣ: «охъ, искушеніе, что за тобою бѣсовская сила гонится?» Ей-то, вишь, досадно. Она нынче и ходитъ-то валко... Едва-едва...

— Старая ужъ...

— Какъ-же! Еще когда моя матушка поступила въ обитель—Степанида ужъ сидѣла подъ воротами-то и сѣдая была...

II.

Вѣра живо собралась; бѣличка не ждала ее — и дѣвушка пошла одна.

Теперь она по наружному виду была похожа на монахиню. На ней черное люстриновое платье, плотно обтянутое въ таліи широкимъ кожанымъ поясомъ. На голову она набросила черный платокъ, скрывавшій ея чудесные волосы. Одни глаза только смѣялись и лучились совсѣмъ не по-монашески; дышали жизнію и манили къ жизни. Впрочемъ, у воротъ обители она низко опустила длинныя рѣсницы и, проходя, поклонилась сидѣвшей сѣдой и сгорбленной монахинѣ.

— Здравствуй, бабушка Степанида!

— Ну, что, все прыгаешь, стрекоза? Здравствуй, здравствуй. Что поздно такъ сегодня?

— Заспалась, бабушка.

— Ишь, грѣхи-то какіе! Поди, и лба себѣ не перекрестила? Ахъ, ты мірская грѣховодница. Подлинно —

искушеніе съ тобой, ну, иди. Мать Капитолина стосковалась, спосылала за тобой. А потомъ и меня старую навѣсти — не забывай. Все съ тобой точно и сама-то помолодѣешь.

Вѣра изъ-подъ воротъ вошла въ большой монастырскій дворъ.

Боже мой, какъ здѣсь все ей было знакомо! Какой крошкой казалась она самой себѣ нѣсколько лѣтъ тому назадъ, играя подъ величавыми стѣнами, и на какую громадную высоту выростали тогда надъ нею колокольни, соборы и башни! Теперь она выросла, и онѣ точно немножко понизились, но всетаки, проходя мимо нихъ, она чувствовала себя опять такой же маленькою, какъ и въ тѣ времена. Мать у нея давно умерла. Она была монахиней—и Вѣрочка ея не помнитъ. Строгій черный силуэтъ ея сливается въ далекомъ прошломъ съ другими такими же. Бабушка, воспитавшая ее, поселилась у обители, гдѣ спасалась ея дочь. Когда умерла эта, старухѣ уже казалось невозможнымъ уйти отсюда, перебраться въ городъ, отъ котораго верстъ за двадцать стоялъ монастырь. Къ ней пріѣзжали иногда родные, убѣждая отдать имъ дѣвочку. По ихъ словамъ, Вѣру надо было воспитать и образовать, но всякій разъ, какъ старушка колебалась и начинала сдаваться на эти доводы—внучка ея или убѣгала въ монастырь и пряталась тамъ у монахинь, повѣряя имъ свое дѣтское горе, или благимъ матомъ кричала, топая ноженками: «не хочу въ городъ, хочу къ *бабушкамъ*». Она ихъ всѣхъ искренно считала *бабушками*. Такъ ихъ и называла, различая только по именамъ; у нея была бабушка Антонида, бабушка Гликерія, бабушка Стефанида. Въ свою очередь и старушки, привязавшіяся къ ребенку, звали ее внучкою. Скоро такимъ образомъ Вѣрочка сдѣлалась внучкою цѣлаго монастыря. Каждая изъ монахинь, будучи еще въ міру, или имѣла дѣтей и утратила ихъ, или страстно желала имѣть ихъ. Теперь, воскресавшіе въ нихъ материнскіе инстинкты невольно сказывались по отношенію къ общей

любимицѣ. Понятно, что она и росла «вселенскою балов ницей», какъ назвалъ ее старикъ-священникъ, являвшійся сюда для совершенія требъ. Ей припрятывали лучшіе кусочки, вязали чулки, шили бѣлье, платья... Такъ бы, благодаря общей любви къ ней, и выросла она безграмотною, или бы старушка, настоящая бабушка, взялась наконецъ за умъ и скрѣпя сердце отвезла ее въ городъ учиться, если бы между монахинями не находилось нѣсколькихъ «бабушекъ» пообразованнѣе. Онѣ кончили въ свое время въ институтахъ, знали языки и обрадовались случаю позабыть однообразіе монастыря, занимаясь съ пустрою дѣвочкой. Только девяти лѣтъ Вѣрочка выучилась читать и, какъ это бываетъ почти всегда, когда начинаютъ поздно—ея способности развернулись вдругъ и поразили всѣхъ окружавшихъ. Дѣвочка схватывала всякія знанія съ жадностью галчонка въ гнѣздѣ, котораго сколько мать ни корми, а у него всегда клювъ раскрытъ широко. Ученыя «бабушки», занявшійся съ Вѣрочкой, потомъ и сами были не рады. Разъ пробужденная ими любознательность не засыпала никогда въ дѣвочкѣ. Она приставала къ нимъ съ вопросами, требовала обстоятельныхъ объясненій, не удовлетворялась назначеннымъ для уроковъ временемъ, хотѣла, чтобы ей цѣлые дни читали что-нибудь вслухъ. Скоро монахинямъ пришлось чуть не выписывать книги и самимъ учиться, чтобы чѣмъ-нибудь наполнить эту ненасытную жажду знанія въ Вѣрочкѣ. Память у нея была удивительная. Монахини обратились было къ священнику, чтобы тотъ помогъ имъ, но старикъ, хотя въ свое время и кончившій курсъ въ академіи, скоро отказался отъ непосильнаго труда.

— Эта курочка клевала да клевала у васъ по зернышку да такъ наклевалась, что теперь и мнѣ передъ нею стыдно.

— Ужъ такая-ли прилежная,—восхищалась мать Варлаама,—просто удивительно!

— Истинно: «тщаніемъ не лѣнива, духомъ горяща, Господеви работающа». Хороп ихъ книгъ ей надо, вотъ что.

И священникъ торопился уйти отъ разспросовъ, приводившихъ его въ затрудненіе.

Инокини обратились за книгами въ городъ, къ «благодѣтельницамъ»; благодѣтельницы послали имъ короба всякаго хламу. Простодушнымъ матерямъ некогда было разсматривать эту премудрость, онѣ предоставили самой Вѣрочкѣ распутываться съ нею, какъ знаетъ. Дѣвочка обрадовалась, перетащила, мало-по-малу, книги къ себѣ на чердакъ и занялась чтеніемъ, безъ толку и безъ разбору, глотая и путешествія, и романы, и историческія сочиненія, и часто изъ одного упрямства одолѣвая такія, въ которыхъ ей все было непонятно. Зато же и надоѣдала она потомъ «бабушкамъ» съ вопросами.

— Бабушка Гликерія, что значитъ это?

И она читала ей выдержку изъ какого-нибудь мудренаго «Ключа къ таинствамъ натуры» или «Сокровища мудраго каменщика, стремящагося къ совершенству».

Бабушка выслушивала, хмурилась, задумывалась.

— Да, ну же, бабушка!—приставала нетерпѣливая Вѣрочка.

— А ты варенья не хочешь? У меня есть вишневое, да какое—съ косточками.

Но этотъ дипломатическій маневръ не удавался. Вѣрочка упиралась пальчикомъ въ книгу и требовала объясненій. Бабушка Гликерія пробовала было пуститься въ умствованія и тотчасъ же запутывалась и начинала сердиться.

— Иди, иди, Вѣрка негодная... Иди!.. Ишь, вздумала больного да сырого человѣка тревожить. Нечего грѣшить-то... Ступай, ступай,—я на молитву стану.

Вѣрка, съ раскрытой на той же страницѣ книгой, бѣжала къ другой бабушкѣ, тамъ пробовали было ее улестить пряниками, и когда это средство не дѣйствовало, брали ее за плечи и выводили за двери; дѣвочка—къ третьей, четвертой, пятой, но у всѣхъ бабушекъ ни отвѣта, ни указаній для нея въ наличности не было. Случалось какой нибудь сердитой монахинѣ, вмѣсто от-

вѣта, отпотчивать ее лѣстовкой или четками. Вѣрочка, что называется «не солоно-хлѣбавши»—отправлялась къ ея сосѣдкѣ. Встрѣтивъ и тутъ отказъ, она въ отчаяніи подъ ворота къ Степанидѣ.

— Бабушка, а бабушка, ты вѣдь добрая, а?—ласкалась она

— Ишь, стрекоза! Ну, да ужъ не льстись... Говори, чего надо?

— А вотъ скажи ты мнѣ, что это значитъ: «мудрый, каменистыми путями блуждающій и бездны по сторонамъ, во мракъ уходящія, созерцающій, не прекратитъ пути сего, но, въ благовременіи одолѣвъ страсть, обрящетъ истинную тропу добродѣтели, содѣлавъ хищнаго льва себѣ неопаснымъ и въ душѣ своей возрастивъ агнца добродѣтельнаго и...»

Степанида задумывалась.

— А ну-ко прочкни-ко еще...

Вѣрочка ей читала.

— Ты у кого спрашивала-то?

— Всѣхъ бабушекъ обѣгала, никто не понимаетъ.

— То-то... Вотъ оно высокоуміе... А простого дѣла не сообразили... Про него это, Вѣрочка, все про него.

— Про кого?—таращилась та.

— Ну еще... Не ко времю поминать бы: про бѣса, про чорта этого самаго... Левъ-то вѣдь—онъ. Какъ про него въ писаніи сказано: «аки левъ искій, кого поглотити...»

Полуудовлетворенная дѣвочка принималась читать дальше...

Книгу она бросала только для церкви.

Въ монастырѣ отлично пѣли, а Вѣрочка очень любила пѣніе. Забравшись въ уголокъ и спрятавшись тамъ ото всѣхъ, она высматривала, какъ колонны собора уходили во мракъ, густѣвшій подъ его сводами, и дѣвочкѣ чудилось, что онѣ тянутся высоко-высоко и пропадаютъ въ самыхъ небесахъ. Когда легкими струйками по нимъ курился вверхъ дымокъ ѳиміама, она представляла себѣ,

что это обрывки облаковъ, что церковь, вмѣстѣ съ колоннами, вознеслась уже въ недосягаемыя глубины тверди, что сама она, Вѣрочка, выйдя сейчасъ на паперть, увидитъ себя повиснувшею въ какомъ-то безграничномъ пространствѣ, а земля будетъ тамъ, далеко-далеко, внизу свѣтится ей робкою звѣздочкой. Очнувшись, дѣвочка смотрѣла, какъ подъ порывистымъ и трепетнымъ свѣтомъ лампадъ и восковыхъ свѣчъ горѣли алмазные вѣнцы и золотыя ризы, и, казалось, шевелились лики старыхъ иконъ. Вонъ глаза Богоматери... Точно моргнула она, и Вѣрочкѣ кажется, что по золоту ризъ и серебру окладовъ катится лучистая бриллiантовая слезка... Ангелы на царскихъ вратахъ подъ сизымъ туманомъ ладана; чудится, они улыбаются ей, легкiя и сквозныя перья за плечами вздрагиваютъ и трепещутъ, точно по нимъ бѣжитъ незамѣтный вѣтерокъ. Еще мгновенiе, и они развернутся и унесутъ крылатыхъ младенцевъ и съ полотна, и изъ храма, а на ихъ мѣстѣ останется одно пустое, ничѣмъ не закрашенное пятно. Была старая икона, вся въ рубинахъ, въ жемчугахъ, изумрудахъ и алмазахъ. Камни эти искрились, загорались, окружая ее фантастическимъ сiянiемъ. Вѣрочка подолгу упорно всматривалась въ ликъ, когда-то изображенный на ней, и совсѣмъ не различала его. И днемъ, близко подходя къ нему, она ничего не могла разсмотрѣть на этой иконѣ—ея краски давно потускли, линiи расплылись, стерлись. Но теперь, за трепетавшимъ пламенемъ свѣчей, въ нагрѣтомъ воздухѣ храма, въ клубахъ то сгущавшагося, то расходившагося ѳимiама—ей на мѣстѣ старой и ветхой иконы мерещились разные лики, одинъ благостнѣе, одинъ кротче другого. То улыбающiеся, то печальные. Она не отводила глазъ отъ этого темнаго пятна, и вотъ въ немъ точно проступали изъ какой-то глубины другiе глаза. Ближе и ближе. Она уже различаетъ взглядъ, устремленный на нее, видитъ, какъ шевелятся рѣсницы этихъ глазъ, какъ свѣтъ отражается въ покрывающей ихъ влагѣ. Мало-по-малу, опредѣляются брови надъ ними,

бѣлѣетъ и выступаетъ лобъ—мелькнули, опять скрылись, опять показались и пропали, и, наконецъ, совсѣмъ обрисовались печальныя уста. И Вѣрочка страстно молится этой, ей одной явленной иконѣ. И чувствуетъ дѣвочка холодъ восторга, пробѣгающій по ея тѣлу, въ груди чутко и больно колотится сердце, какъ птичка, изъ тѣсной клѣтки стремящаяся на волю, а церковь возносится все выше и выше, и куда-то низко-низко проваливается робкая звѣздочка тамъ далеко оставшейся земли. Теперь ужъ ее почти совсѣмъ не видно, вѣрно мигнетъ и опять скроется, какъ бриллiантовая слезка, прокатившаяся по благостному, ей одной открывшемуся лику... А напѣвы звучатъ громче, стройнѣе; прекрасные, звучные голоса, кажется, съ недосягаемой высоты льются во храмъ; вотъ они цѣлымъ потокомъ хлынули около нея, закружились, схватили ее въ свое гармоничное облако и уносятъ... Куда?.. Развѣ она знаетъ куда? Она только чувствуетъ, что сердце готово перерости его клѣтку, и что-то горячее и жгучее подкатилось и горитъ въ ея глазахъ, щеки ея стали влажны, а она сама такъ легка, такъ легка—что поди теперь и спрыгни съ паперти—такъ и останется висѣть въ эфирѣ, какъ пушинка... Только и приходила въ себя дѣвочка—когда какая-нибудь монахиня, замѣтившая ее во мракѣ ея уголка, приближалась къ ней, клала на ея горячій лобъ свою холодную мягкую руку и спрашивала, наклонясь:

— Что, дѣвочка, у тебя головка болитъ?

— Нѣтъ... Нѣтъ... Это такъ...

И она старалась освободиться изъ-подъ ласковой руки «бабушки», хотя иногда эта «бабушка» была и сама еще молодою женщиной.

Возвращенная землѣ, дѣвочка долго наблюдала за своими «бабушками».

«О чемъ это такъ вздыхаетъ мать Капитолина?.. Почему она наклонится и долго стоитъ согбенною и прижимаетъ рукою сердце? Что она чувствуетъ? А бабушка Агнія—зачѣмъ она всегда плачетъ въ церкви, а внѣ ея

такая веселая и спокойная? Вонъ Варлаама шепчется съ Серафимой — къ нимъ присоединилась и Афанасія...» И долго слѣдитъ Вѣрочка, какъ въ сумракѣ храма обрисовываются смутные черные силуэты монахинь. Еще поближе, они различаются изъ общаго фона—дальше сливаются совсѣмъ, и только порою въ этомъ маревѣ чудится движеніе, слышенъ шорохъ, изрѣдка вырвется загадочный звукъ и пропадетъ опять, какъ свѣтлое пятно, проступавшее во тьмѣ на мгновеніе. А когда священникъ, высоко поднявъ Евангеліе въ золоченомъ окладѣ, идетъ въ эту тьму, и оно одно лучится и свѣтится въ ней — дѣвочкѣ кажется, что, выпусти отецъ Спиридонъ Евангеліе изъ своихъ слабыхъ, дрожащихъ рукъ, — оно поплыветъ-поплыветъ прямо по воздуху, высоко-высоко — на паперть, съ паперти уйдетъ въ пространство и загорится въ немъ новою яркою звѣздою...

Дѣвочка жила въ эти минуты среди одной ей явленныхъ, одной ей понятныхъ чудесъ..

Она такъ забывалась, уходила въ самое себя и въ свой призрачный міръ, что мать Афанасія — бабушка, всегда запиравшая церковь — долго бродила по всѣмъ угламъ, высматривая, не затерялась-ли гдѣ-нибудь Вѣрочка. И Вѣрочка, случалось, задумавшаяся и восхищенная, видѣла, какъ мракъ большого и тускло освѣщеннаго только у иконостаса храма мало-по-малу освобождался отъ черныхъ силуэтовъ монахинь. Она даже не различала ихъ, а отгадывала, какъ онѣ толпятся у выхода, одна за другой исчезаютъ въ немъ, и мракъ послѣ нихъ кажется не такъ густъ. Въ немъ, въ его исполненной молитвы и благоговѣнія глубинѣ—осталось что-то великое и страшное въ одно и то же время, что-то сгущающееся тамъ въ дали, но и сюда достигающее, касающееся ея самой, ея горячаго лобика, шевелящее волоса на ея головкѣ... Но вотъ рядомъ съ нею обрисовывается кто-то другая.

— Ишь ты, шалунья!.. А я ее ищу, ищу.

И бабушка Афанасія ласково беретъ ее за руку.

— Всегда такъ-то задумается... Да ты не спишь ли здѣсь по уголкамъ? А?..

И, низко наклонясь къ дѣвочкѣ, бабушка видитъ ея глаза, широко раскрытые, полные несознаннаго еще чувства.

— Нѣтъ, не спишь?.. Ну, пойдемъ, пойдемъ.

И она ведетъ ее вонъ изъ церкви, позванивая ключами и шаркая по полу слабыми, больными ногами. Колонны за колоннами выступаютъ изъ мрака и пропадаютъ въ немъ. По пути Аѳанасія тушитъ послѣднюю, еще робко мигающую свѣчку, и прямо въ лицо дѣвочки струится тонкій дымокъ ея, пахнущій гарью и воскомъ— еще секунда, и прохлада паперти приводитъ ее въ себя.

Высоко между колокольнями церквей вырѣзывается серпъ молодого мѣсяца. Звѣздочка около. Гдѣ-то далеко-далеко лаетъ собака. Шорохъ загадочныхъ крыльевъ замираетъ въ воздухѣ.

— Ну, куда ты теперь?—спрашиваетъ Афанасія.

— Къ бабушкѣ Варлаамѣ.

— А что тамъ?

— А у нея «моя» бабушка сегодня чай пьетъ.

И увѣренно, точно у себя дома, идетъ она въ сумракъ монастыря, у старыхъ высокихъ стѣнъ и громадныхъ, ночью еще выше кажущихся, башенъ.

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!—говоритъ она, стуча въ дверь.

— Аминь!—слышится оттуда.

Вѣра входитъ въ келью, и бабушка Варлаама ласково улыбается ей изъ-за стола, на которомъ кипитъ самоваръ, уже шипя ей навстрѣчу, точно со злости, что она заставляла его ожидать ее, такую ничтожную и маленькую дѣвчонку...

III.

Не всѣ «бабушки» у Вѣры были добрыя. Она знала нѣсколькихъ, слывшихъ у нея и злыми «бабушками».

*

Злыя бабушки большею частію были старыя и больныя монахини, оплывшія, съ желтымъ отекшимъ лицомъ, едва двигавшимися ногами, всѣми признаками начинающейся водяной. «Злыя бабушки» сами по себѣ не были злы. Ихъ дѣлали такими страданія и недуги. Выйдетъ, бывало, «злая бабушка» на воздухъ изъ душной кельи въ жаркій часъ лѣтняго дня, сядетъ на скамью въ саду подъ акаціей, узорчатые листья которой неподвижно замерли въ свѣтѣ и зноѣ, или подъ кленомъ, подставившимъ свои зеленыя ладони солнцу... Сядетъ и смотритъ на липу, осыпанную палевымъ пухомъ, обвѣянную медовымъ запахомъ, слушаетъ и думаетъ, о чемъ это «гудутъ» въ ней пчелы Ихъ однѣхъ не истомилъ жаръ. Птицы всѣ попрятались, кто въ тѣнь, кто подъ колокольни, кто подъ кровли — а пчелы роятся и шуршатъ, и «гудутъ» въ пышной липѣ. Истинные божьи работники! И только что такая «бабушка» отойдетъ — и боли въ ногахъ не чувствуетъ, и не холодно ей, напротивъ—старую ржавую грудь пригрѣло солнцемъ, и на безкровныя губы улыбка ложится, а на отекшемъ желтомъ лицѣ выступаетъ выраженіе довольства, какъ, откуда не возьмись, летитъ, точно со слѣпу, «бѣсенокъ» Вѣрочка, и не разобравъ, кто это сидитъ — бабахъ съ разбѣгу прямо на колѣна инокини! Только вскрикнетъ та отъ боли и, собравъ послѣднія усилія, швырнетъ отъ себя егозу-дѣвчонку.

— Уйму на тебя нѣтъ, дьяволенокъ! Прости меня, Царица Небесная. А ужъ приберегу я лозу для тебя. Будешь ты помнить ревность мою о Господѣ!

И долго еще злится и ворчитъ злая бабушка, потирая колѣни и охая — и пристыженная дѣвочка, уходя прочь, слышитъ за собой ея напутственныя пожеланія:

— Ногу бы тебѣ сломить, пострѣленокъ. Скажу матушкѣ-игуменьѣ, чтобы она не приказала тебя пускать сюда въ садъ. Спокою нѣтъ съ тобой. Точно песья муха безъ удержу на людей кидаешься...

Были и нервныя монахини, не любившія дѣтей съ

ихъ рѣзвостію и шумомъ; была, наконецъ, одна юродивая, ходившая какъ-то смѣшно, болтая руками и головой въ разныя стороны. Та всякій разъ, встрѣчая дѣвочку, показывала ей языкъ и кричала:

— А вотъ погоди— самъ-то прижгетъ тебя. На сковородочку, на бочокъ, да огнемъ геенскимъ!.. Зашипишь только, а потомъ перевернетъ на другую сторонку, чтобы всю подрумянило. Да маслицемъ, маслицемъ. Ай, больно, больно будетъ!... Ай, больно! Эге-ге... Ну-ко... Что?

И помѣшанная сестра Ирина начинала подплясывать, кивая Вѣрочкѣ головой, пока нарочно приставленная къ больной бѣлица не прибѣгала на крикъ и не уводила ее съ собою всегда на одну и ту же приманку.

— Сестра Ирина, а сестра Ирина... Женихъ пришелъ.

— Пѣшой или на мерблюдѣ?..

— Скорѣй бѣгите... Разсердится—уйдетъ!

— Ахти мнѣ, женихъ пришелъ!—и она начинала метаться во всѣ стороны.—Женихъ пришелъ, а я, глупая, окаянная, свѣтильникъ-то свой и погасила!

— Не тревожьте себя, сестра Ирина, я зажгла свѣтильникъ.

— Гдѣ, гдѣ онъ, гдѣ?.. Свѣтильникъ-то... Къ жениху скорѣй.

— А тебѣ на томъ свѣтѣ прижгутъ!—уже уходя къ себѣ, оборачивалась она къ Вѣрочкѣ. — Прижгутъ! Сначала-то на одинъ бочокъ, а потомъ на выворотъ!.. Шиворотъ на выворотъ!.. Выворотъ на шиворотъ.

Это, впрочемъ, очень мало огорчало дѣвочку.

Такъ легкія лѣтнія тучки, пробѣгая по чистому, голубому небу, вспрыснутъ дождемъ, нагремятъ, нашумятъ, и опять грѣетъ солнце, и опять поютъ птицы, и опять алѣютъ и голубѣютъ цвѣтики въ саду у бабушки игуменьи. Разъ, впрочемъ, Вѣрочкѣ досталось довольно серьезно. Попала ей въ руки книга, гдѣ разсказывалось о животныхъ. Прочла она о китѣ — и ахнула. Сейчасъ къ первой попавшейся бабушкѣ

— Мать Секлетея, бабушка Секлетея!

Нарвалась на этотъ разъ на «злую бабушку», да разсуждать некогда было — оказывалось необходимымъ поскорѣе рѣшить свое недоумѣніе.

— Ну, чего тебѣ, блоха?

— Вотъ тутъ,—торопилась она, — вотъ тутъ написано...

— Что написано-то?—хмурилась злая бабушка.

— Будто у кита, у рыбы кита, горло столь узкое, что онъ развѣ селедку проглотить можетъ.

— Ну?—недоумѣнно поднимала брови мать Секлетея.— Ну, а мнѣ-то какое касательство до селедокъ. Я ихъ, признаться, и въ міру ахъ какъ не любила.

— Вотъ,—захлебывалась дѣвочка,—какъ же онъ, коли у него горло такое—пророка-то... Іону-то...

— Покажъ книжку!

Вѣрочка показала.

Злая бабушка прочла. Похлопала, похлопала глазами, побѣлѣла даже, точно испугалась, да какъ взвизгнетъ, да какъ затрепещется!

— Чортъ, чортъ!.. Чортъ вселился въ тебя на горе наше... Въ сомнѣніе вводитъ... Убить тебя мало!

И, схвативъ одною рукою книгу, а другою ущемивъ Вѣрочку за ухо, такъ и повлекла ее къ матушкѣ-игуменьѣ. Та, къ счастію, была въ саду съ «батюшкой».

— Что это, Секлетея?..

— Бѣса привела къ тебѣ, мать игуменья!

И отдала ей земной поклонъ.

— Встань, что случилось-то? Что ты надѣлала, Вѣрочка?

Но пока Вѣрочка плакала, Секлетея, волнуясь, глотая слова, разсказывала, какъ дѣвочка, въ которую, должно быть, вселился бѣсъ, повергла ея душу въ смущеніе вопросомъ о китѣ съ селедкою и ссылкой на Іону-пророка.

— Ну, и что-жъ тутъ такого?—вмѣшался батюшка, слушавшій внимательно. — Ни въ чемъ Вѣрочка не ви-

новата; напротивъ, ты, мать, должна была бы просвѣтить ея любопытство, а не хватать ее за уши, точно галку за крыло.

Потомъ батюшка обратился къ дѣвочкѣ.

— Подь-ко сюда. Въ писаніи какъ сказано: что Господь съ Іоной сотворилъ чудо?

— Да.

— Ну, а скажи, какое же бы это чудо было, если бы у кита горло то широкое вышло, вонъ въ эту бочку— сороковку? Въ томъ самое чудо и есть. Поняла?

— Поняла, дѣдушка.

— Ну, вотъ иди себѣ съ миромъ!

Но «бабушка Секлетея» послѣ не могла никакъ забыть своего посрамленія и; встрѣчая Вѣрочку съ какою-нибудь изъ ея учительницъ, шептала про себя:

«Слѣпецъ слѣпца аще водитъ, оба въ яму впадутъ».

— Что это ты, мать Секлетея?—оборачивалась къ ней встрѣчная монахиня.

— Ничего, такъ я... По смиренію своему: изъ Матѳія вспомнила.

И быстро уходила прочь, творя, по своему мнѣнію, благо.

Злыя бабушки мѣшались въ воспоминаніяхъ Вѣрочки съ бабушками добрыми, и такъ какъ послѣднихъ было больше, чѣмъ первыхъ, то онѣ и заслоняли злыхъ совсѣмъ; да и какъ не заслонять? Разъ Вѣрочка заболѣла и лежала у себя въ домикѣ, нѣсколько дней уже не показываясь въ монастырѣ. Когда она очнулась и пришла въ себя,—первое, что увидѣла дѣвочка, было заплаканное лицо юродивой. Сестра Ирина стояла вмѣстѣ со своей бѣлицей надъ кроватью больной и порывисто, обѣими руками, крестила Вѣрочку, повторяя ни къ селу, ни къ городу: «Взыщутъ меня злые и не обрящутъ, взыщутъ меня злые и не обрящутъ, взыщутъ меня злые и не обрящутъ». А потомъ, когда встрѣтила ее выздоровѣвшую на монастырскомъ дворѣ, ни съ того, ни съ сего ткнула ей въ ротъ морковку и закричала:

— Свинья ѣстъ—и ты ѣшь!.. Вси убо прахъ...

И поскакала прочь на одной ножкѣ, болтая головой во всѣ стороны.

Больше всего любила Вѣрочка мать Серафиму, и по цѣлымъ днямъ просиживала у нея. Бабушка Серафима была богатой женщиной въ міру—и въ монастырѣ ея келья состояла изъ особаго домика съ просторными и свѣтлыми комнатами, оклеенными пестрыми обоями. Полы были застланы коврами, и по коврамъ, отъ одной двери къ другой, шли дорожки. Мебель у бабушки Серафимы была тоже особенная. Неуклюжія кресла, твердыя, какъ камень, которыя Вѣрочка называла «растопырями», и въ которыя нельзя было броситься съ разбѣгу—здѣсь отсутствовали; зато всюду стояли большія и мягкія, гдѣ она помѣщалась въ уголку, свернувшись котенкомъ. Бабушка Серафима была ученая. У нея постоянно подъ потолкомъ висѣли разныя ароматическія травы, наполнявшія ея келью нѣсколько пряннымъ, но необыкновенно пріятнымъ запахомъ. Когда инокиня заболѣвала — она посылала обыкновенно за Серафимой. Та снимала съ полки одну изъ мудреныхъ книжекъ и шла, а потомъ, высмотрѣвъ въ ней что-то, брала ту или другую траву, сама готовила изъ нея настой, читала надъ нимъ молитву и посылала его съ наставленіемъ, какъ надо употреблять таковый. Былъ у матери Серафимы еще большой атласъ и, развернувъ его, она разсказывала Вѣрочкѣ про разныя страны и народы такія чудеса, что у той только дыханіе захватывало, да глаза, казалось, готовы были выскочить вонъ отъ любопытства. Ей чудилось, что она и сама видитъ безбрежные океаны съ ихъ штормами, съ кораблями, затерянными среди ихъ простора, и дивными островами, гдѣ растутъ сказочныя деревья и цвѣты, и люди ходятъ нагишемъ, не терпя ничего отъ зноя и отъ холода; высокія горы покрыты вѣчными снѣгами; лѣса съ такими страшными звѣрями, передъ которыми китъ пророка Іоны показался бы, пожалуй, смиреннымъ и кроткимъ, какъ овечка. Чудились ей долины съ фан

тастическою роскошью зелени, растущей и рвущейся вонъ изъ мѣры,—равнины, по которымъ струятся рѣки, блестя подъ солнцемъ, какъ змѣиныя кольца; бѣломраморные храмы съ дивами искусства, руины другихъ, еще болѣе великолѣпныхъ, построенныхъ невѣдомыми народами нѣсколько тысячъ лѣтъ тому назадъ... И Вѣрочка замирала, вся обращаясь въ слухъ.

— А гдѣ, бабушка Серафима, живутъ одноглазые люди?— спрашивала она, наконецъ, положивъ подбородокъ на ладони и упираясь локтями въ столъ.

— Такихъ нѣтъ.

— Какъ нѣтъ, когда мнѣ бабушка Степанида разсказывала!

— Вѣрно у нея подъ воротами живутъ они!..—смѣялась мать Серафима.

— Ну, а хвостатые?

— И хвостатые люди тоже тамъ у нея подъ воротами!

Вѣрочка съ сомнѣніемъ покачивала головой, не смѣя не вѣрить ученой бабушкѣ и въ то же время отдавая полную справедливость интереснымъ разсказамъ простой бабушки подъ воротами.

Но и не это все-таки приманивало, главнымъ образомъ, Вѣрочку въ келью къ бабушкѣ Серафимѣ.

У монахини была одна очень большая комната съ громаднымъ окномъ, завѣшаннымъ сборчатою шторой изъ золотисто-желтаго шелка. Это оказывалась мастерская матери Серафимы. Здѣсь стоялъ треножникъ, и на немъ всегда бѣлѣло полотно, натянутое на раму. Около лежали палитра съ масляными красками, дальше на столикѣ тѣ же краски «въ свинцовыхъ фунтикахъ», какъ называла ихъ Вѣрочка. Стоило пожать такой «фунтикъ за хвостикъ», и въ горлышкѣ его проступала или голубая, или красная, или желтая, или зеленая капелька. Сюда, когда освѣщеніе было достаточно хорошо, удалялась мать Серафима писать картины и образа, которыми она украшала обительскія церкви, посылала ихъ въ подарокъ бѣднымъ сельскимъ храмамъ, наконецъ, вѣшала у себя на стѣ-

нахъ. Серафима была талантливая женщина. Къ ней обращались даже изъ города заказчицы за портретами, но она всѣмъ имъ отказывала.

— Талантъ—отъ Бога, и Ему Одному надо посвящать его!—говорила она.

Вѣрочка готова была цѣлые часы сидѣть неподвижно, свернувшись калачикомъ, въ углу большого кресла и смотрѣть, какъ «бабушка Серафима» орудуетъ своею мастерскою кистью. Она замѣчала, какъ та смѣшиваетъ краски, изучала пріемъ, какъ держать кисть и палитру, какъ грунтовать полотно. Когда передъ нею, изъ смутныхъ и небрежныхъ набросковъ, повидимому, ничего сначала не означающихъ, выступалъ, наконецъ, художественно намѣчавшійся образъ—она чувствовала, какъ что-то трепетало у нея въ груди, какъ точно въ комнатѣ воздуху становилось меньше, какъ жгло ея щеки и сохли губы. Тутъ ужъ она, хоть ущипни ее, не крикнула бы ни слова, чтобы не помѣшать этому творчеству, созданію чего-то живого и прекраснаго изъ ничего... Мать Серафима долго присматривалась къ ней во время этихъ безмолвныхъ восторговъ и, наконецъ, разъ сказала ей:

— Вѣрочка, хочешь учиться у меня рисовать?

У той даже сердце захолонуло. Она и отвѣтить ничего не могла, поблѣднѣла вся и часто-часто задышала.

— Значитъ, хочешь? Ну, и ладно. Сегодня я поговорю съ твоей бабушкой, спрошу благословенія у матери-игуменьи, а завтра милости просимъ за работу!

Мать-игуменья благословила, бабушка (настоящая) согласилась, и Вѣрочка начала такимъ образомъ учиться живописи.

IV.

Бабушка согласилась, мать-игуменья благословила.

И не просто, а позвала къ себѣ дѣвочку.

— Ну, что, «вѣтерокъ», учиться хочешь? Съ матерью Серафимой поработать?

— Хочу, бабушка.

— Дай тебѣ, Господи. Вотъ придетъ отецъ Симеонъ, отслужитъ молебенъ, и начинай съ Богомъ. Все меньше на тебя жаловаться наши больныя будутъ, а то ужъ очень ты имъ надоѣла. Все летаешь, да бѣгаешь. И то ужъ вчера мать Анемподиса говоритъ: «у меня отъ этой Вѣрки въ глазахъ мельканіе началось. Все мелькаетъ, все мелькаетъ,—а что такое, я и сама не знаю...» Вотъ мать Серафима тебѣ хвостъ-то прижметъ, не будешь мелькать передъ нашими старицами.

Отецъ Симеонъ, узнавъ о желаніи Вѣрочки учиться, тоже одобрилъ.

— Дастъ тебѣ ежели Господь доброе разумѣніе и благое поспѣшеніе въ наукѣ этой, станешь ты своевременно образа для нашихъ церквей писать, подумай, сколь сіе будетъ превозвышено: предъ дѣломъ рукъ твоихъ молитвенники или молитвенницы проліютъ слезы и, взирая на оное, призовутъ въ сердцѣ своемъ имя Всевышняго.

Отецъ Симеонъ, обыкновенно говорившій весьма просто, наставляя кого-нибудь впадалъ въ выспренній и дидактическій тонъ.

— Но помни также, что во всемъ духъ потребенъ, такъ и въ новой наукѣ твоей... Гдѣ это сказано: «Не внѣшняя плетенія власъ и обложеніе злата или одѣяніе ризъ лѣпота, но потаенный сердца человѣкъ въ неистлѣніи кроткаго и молчаливаго духа...» Ну-ко, гдѣ?—обратился онъ къ матери-игуменьѣ.

— Не знаю, отче, либо забыла.

— То-то... Сказано это...—Отецъ Симеонъ запнулся, потеръ себѣ лобъ, вздохнулъ и еще потеръ, потомъ спохватился.—Что же это мы, грѣховодники, пора и молебенъ служить! Ну-ко, будущая иконописательница, пожалуйте съ своею бабушкою...

Правду сказать, Вѣра на первыхъ порахъ была очень разочарована. Она воображала, что Серафима ее сейчасъ же посадитъ на свой табуретъ, дастъ ей въ одну руку палитру, на другую кисть и предоставитъ въ ея распо-

ряженіе ящикъ съ пестрыми красками, а дѣвочка съ мѣста начнетъ писать и лица, и деревья, и церкви, и небо голубое, и поля зеленыя, и монашенокъ черныхъ— прежде всего, разумѣется, своихъ безчисленныхъ бабушекъ. Она уже и распредѣлила ихъ: первую нарисуетъ настоящую бабушку и въ имянины подаритъ ей послѣ молебствія, потомъ мать Варлааму, у которой такое отличное варенье изъ крыжовника, за нею слѣдовала очередь самой ея учительницы Серафимы—вплоть до Степаниды, живущей подъ воротами, въ интересномъ обществѣ хвостатыхъ и одноглазыхъ людей. Но, увы! Ей пришлось надолго отложить попеченіе объ этомъ. Вернувшись изъ церкви, она бросилась было къ табурету и треножнику и зацапала уже палитру,—да мать Серафима съ удивленіемъ спросила ее:

— Это ты что же?

— Рисовать, бабушка.

— Сразу захотѣла? Ну, нѣтъ... Потерпи. Еще нѣсколько лѣтъ, коли Господь дастъ тебѣ терпѣніе, посидишь на первоначальной школѣ.

— Что же теперь мнѣ дѣлать!

— А руку набивай. Вотъ бумага и карандаши. Видишь эту тетрадку? Ну, такъ, какъ здѣсь, и ты води эти черточки! Только старайся, чтобы у тебя прямо выходило; выучишься, тогда кружки начнешь, а потомъ вотъ эти уголки, кубики; къ тому времени для тебя закажу гипсовые, ты съ нихъ писать будешь.

И началась скучная подготовка.

«Вѣтерку», какъ ее называли здѣсь, надо было много терпѣнія, чтобы каждый день высиживать опредѣленные часы за круглымъ столомъ у матери Серафимы и выводить линіи, круги и кубики, навалившись грудкой на свою же работу и мусля на губахъ казавшійся ей недостаточно мягкимъ карандашъ. Она и уходила отсюда вся измазанная. Руки черныя, губы и подбородокъ тоже. Часто и кончикъ носа оказывался попробовавшимъ карандаша.

— Ну, на кого ты похожа?—остановила ее какъ-то мать Секлетея.

Вѣрочка посмотрѣла гордо на злую бабашку и хотѣла пройти мимо.

— Постой, постой, ты на себя въ зеркало взгляни... Чумазая, точно изъ трубы сейчасъ выскочила. Жаль, что бабъ да дѣвокъ въ трубочисты не берутъ, какъ разъ бы тебя.

«Вѣтерокъ» надулся, но въ отмщеніе рѣшилъ непремѣнно изобразить злую бабушку вылѣзающею изъ трубы.

Наткнулась на нее и юродивая бабушка Ирина.

— Господи, спаси, Господи, вызволи...—попятилась она.—Чортъ, чортъ...

Потомъ бросилась къ колодцу, схватила ведро и давай отмывать Вѣру.

— Что ты?—прибѣжали на вопли дѣвочки.—Что ты, Ирина, дѣлаешь...

— Ахти мнѣ!—кричала съ другой стороны спѣшившая на выручку бѣлица Ирины.

— Ничего, ничего. Чорта отмываю!

И она ерзала мозолистою рукой по скомканному совсѣмъ лицу Вѣрочки, обливая ее водой.

— Ревную по васъ Божіею ревностью, ревную по васъ Божіею ревностью.

Эти сюрпризы заставили было призадуматься Вѣрочку. «Да ужъ полно, учиться-ли?» разсуждала она. И охладѣла было, да какъ-то забралась съ бабушкой Серафимой на монастырскую колокольню. Отсюда открывался на громадное пространство дивный видъ. Направо, въ синевѣ далей змѣилась рѣка, то двоившаяся и троившаяся серебряными рукавами, то сливавшаяся въ свѣтловодные, глубокіе плесы, — словно забытые среди лѣса щиты. По другую сторону, внизъ, все внизъ, шла сплошная дрема стараго лѣса, важнаго, молчаливаго, волны вершинъ, цѣлое море вершинъ — и берега этому морю не было. Волны вершинъ далеко сливались въ туманъ какой-то; туманъ пропадалъ въ небесахъ, переходя въ ихъ блѣд-

ную, словно болѣзненную, лазурь. Прямо на югъ шли луга заливные, за ними убѣгала, Богъ вѣсть, куда, зеленѣющая марь пологихъ холмовъ, на одномъ изъ которыхъ мерещился городъ съ искрами куполовъ, то пропадавшій, то опять выступавшій призраками бѣлыхъ домиковъ. Прямо подъ колокольней, подъ ногами у дѣвочки, зеленѣли крыши монастыря, объѣденные временемъ и облупившіеся зубцы его стѣнъ, горѣли ярко золотые кресты, свѣтились звѣзды—и повсюду, куда только ни поворачивалась она, рядомъ съ ея головою, выше и ниже, во всѣхъ направленіяхъ чертили свѣжій и теплый воздухъ шаловливыя ласточки, точно стригшія что-то своими острыми крылышками. Смотрѣла, смотрѣла Вѣрочка, и почудилось ей, что вмѣстѣ съ этимъ монастыремъ она несется куда-то далеко среди этихъ полей, луговъ и лѣсовъ... Колокольня почудилась ей мачтою этого каменнаго корабля... Даже голову закружило у дѣвочки.

— Бабушка Серафима! А бабушка Серафима!

— Что тебѣ?

— А можно все это нарисовать?

— Что все?

— Вотъ эту рѣчку, и лѣсъ этотъ, и городъ?

— Отчего же нельзя. Погоди, годика черезъ три-четыре и ты писать станешь, какъ слѣдуетъ.

— Я тогда сейчасъ на колокольню — и все это нарисую. А какъ же, бабушка Серафима, сдѣлать такъ, чтобы у меня на картинѣ ласточки летали и крылышками стригли?

— Въ картинѣ надо мгновеніе уловить; движеніе въ ней чувствуется, но его не видно.

И Серафима стала объяснять ей законы искусства, примѣняясь къ ея разуму.

Дѣвочка слушала ее съ закрытыми почти глазами, до того слова монахини переполнили весь ея внутренній міръ.

Слушала, слушала, да вдругъ показалось ей, что бабушка Серафима точно ушла куда-то отъ нея, замолкла.

Вѣрочка взглянула на нее и видитъ, что монахиня, вся просвѣтлѣвшая, смотритъ въ глубину небесной синевы прямо надъ собою.

— Что тамъ, бабушка, а? Что тамъ?

Та точно на землю упала съ высоты. Только съ лица ея еще не сбѣжало восторженное выраженіе неизмѣримаго счастія.

— Что тамъ въ небѣ-то?..—приставала Вѣрочка, хватаясь руками за ея черную мантію.

— Ничего... Не поймешь ты этого...

— Скажи, бабушка.

— Видишь глубь, это гдѣ синь-то погуще... Насквозь ее проникаешь взглядомъ, и чудится тебѣ за нею и крыло сквозное ангела небеснаго, и лучи свѣта слѣпящаго вокругъ дивнаго лика.

— А это написать можно, бабушка?

И у Вѣрочки даже глаза разгорѣлись.

— Были великіе художники, которые и такія картины писать умѣли. Имъ ужъ это отъ Господа дано было особо. У нихъ каждый мазокъ кисти, что слово молитвы! Мало такихъ у насъ насчитывается, а были... Въ далекой странѣ одной... ты про Испанію читала-ли?

— Читала, бабушка Серафима; это гдѣ быковъ бьютъ и на гитарахъ по ночамъ играютъ?

— Ну, вотъ, тамъ солнце жжетъ, и земля не такая, какъ у насъ, небо жаркое, горячее, синѣе этого. Росъ тамъ на улицахъ мальчикъ одинъ бездомный, спалъ на теплыхъ камняхъ церковныхъ папертей, собиралъ апельсинныя корки и куски хлѣба, выброшенные другими болѣе счастливыми людьми, и этимъ питался, и все смотрѣлъ на небо, все любовался имъ. Сталъ онъ углемъ по стѣнамъ писать.

— Углемъ?—переспросила Вѣрочка, нахмуривъ озабоченно брови.

— Да, милая, углемъ, а потомъ сбился кое-какъ на краски и давай на щепочкахъ Богородицъ маленькихъ рисовать. Было это въ Кадиксѣ—городъ въ океанъ вдался

на длинномъ мысѣ. Бѣлый весь, точно лилія, на стеблѣ своемъ въ море брошенная. И отплывало тогда изъ Кадикса много кораблей въ Америку, и каждый, кто ѣхалъ туда на этихъ корабляхъ, непремѣнно покупалъ у мальчика щепочку съ его Богородицей... А когда выросъ этотъ мальчикъ, онъ сталъ писать такихъ Богородицъ, что передъ ними до сихъ поръ люди плачутъ отъ восторга и счастья.

— А какъ звали этого мальчика, бабушка Серафима?

— Звали его—Мурильо, душа моя. Такъ вотъ, уже большимъ этотъ Мурильо въ другомъ испанскомъ городѣ, въ Севильѣ, становился на башнѣ и цѣлые часы смотрѣлъ въ синь небесную, и она разверзалась ему и являлась оттуда художнику сама Матерь Божію... Оттого онъ и писалъ ее такъ хорошо, что собственными глазами видѣлъ Пречистую.

Задумалась Вѣрочка... Сошла съ колокольни... А потомъ одна часто взбиралась туда и, положивъ голову на ладони и упираясь локтями въ балюстраду, долго, тоже по часамъ смотрѣла на синеву небесную... И иногда ей казалось, что лазурь точно рѣдѣетъ, воздухъ тамъ дрожитъ, въ глубинѣ его лучъ рождается, и неопредѣленными, трепетными пятнами расплывается какое-то сіяніе... Но потомъ опять густота синевы, либо бродячее жемчужное облочко налетало, и Вѣра, разочарованная, сходила внизъ, утѣшаясь тѣмъ, что и ей, когда она будетъ большою, явится Богородица въ разверзшихся небесахъ... И она нарисуетъ Ее и, приходя смотрѣть на ея картину, люди заплачутъ и замолятся, какъ плачутъ и молятся они надъ Мадоннами Мурильо.

— Что притихла?—шипѣла на нее въ такія минуты бабушка Секлетея.—Что притаилась, аль новую шкоду какую нибудь задумала?

И, оборачиваясь, Вѣрочка видѣла, что Секлетея озабоченно слѣдитъ за нею и грозитъ ей своимъ сухимъ желтымъ пельцемъ.

За то разсказъ бабушки Серафимы о рисункахъ углемъ не пропалъ даромъ.

Я думаю, учительница легкомысленнаго «Вѣтерка» и сама потомъ была не рада. Скоро на бѣлыхъ стѣнахъ монастыря стали появляться необыкновенныя фигуры, набросанныя неумѣлою дѣтскою рукою. Надъ крошечнымъ домикомъ торчала громадная труба, изъ которой въ видѣ спирали подымался дымъ, загибавшійся въ сторону, и въ дыму этомъ вылетала какая-то чертовка съ растопыренными пальцами. Подъ этимъ произведеніемъ красовалась надпись: «Секлетея». Потомъ въ кругѣ рисовался одинъ глазъ, подъ кругомъ значились палочки, замѣнявшія ноги, а подъ ними изображалось: «одноглазые люди, живутъ подъ воротами у бабушки Степаниды». Рисовала дѣвочка и монахинь, и отца Симеона, и деревья, и угодниковъ Божьихъ такими, какими видѣла она ихъ на стѣнахъ собора, съ высоко поднятою рукою для благословенія и съ книгой въ другой рукѣ. Рисовала и голубей съ распростертыми крыльями, и купола соборовъ, болѣе похожіе на мыльные пузыри, и самый соборъ въ видѣ коробки, и Богъ знаетъ что еще.

Къ этому времени относится и первое горе Вѣрочки.

Разъ, только что она начала было изображать бабушку Секлетею вылетающей изъ трубы, — кто-то ущемилъ художницу за ухо. Оглянувшись, она увидѣла оригиналъ задуманной ею картины. Желтая и отекшая мать Секлетея, кипя негодованіемъ и бѣшенствомъ, подняла крикъ, на который изо всѣхъ келлій стали сбѣгаться полуодѣтыя и простоволосыя монахини. Скоро вокругъ Вѣрочки собралась сплошная толпа молчаливыхъ, сердитыхъ бабушекъ, безмолвно созерцавшихъ на бѣлой стѣнѣ ея новое произведеніе.

— Такъ это вотъ кто расписываетъ у насъ кельи! шипѣла Секлетея.—Вотъ кто!..

— Ахъ, ты, дрянь этакая!—кричала другая больная монахиня, которой тоже не мало надоѣла Вѣрочка.

Въ довершеніе ужаса налетѣла на дѣвочку юродивая Ирина и, не разобравъ въ чемъ дѣло, давай ее кропить прихваченною съ собой святою водою...

— Изыди, сатана, чуръ меня, чуръ меня, изыди, сатана!—прыгала она вокругъ дѣвочки.

Секлетея, не выпуская изъ рукъ ея уха, торжественно повлекла ее къ бабушкѣ Варлаамѣ.

— Вотъ, мать-игуменья, какія дѣла завелись у насъ!—запѣла ей Секлетея.

Мать-игуменья выслушала и нахмурилась.

— Такъ это ты у насъ стѣны портишь? Этого такъ оставить нельзя. Маша, сбѣгай-ко ты за ея бабушкой.

Настоящая бабушка явилась крайне растерянная и сконфуженная за внучку. Она даже всплакнула было.

— Проси прощенія, прощенія проси!—шептали Вѣрочкѣ отовсюду монахини.

Но на дѣвочку нашло. Она отвернулась въ уголъ, уткнулась въ него носомъ и не поворачивалась. Ее и за плечи брали, и хотѣли заставить идти къ бабушкѣ-игуменьѣ, къ Секлетеѣ—Вѣрочка только отмахивалась, ногой топала да плечиками дергала.

— Что-жъ ты будешь, дрянь этакая, прощенія просить?—вспылила настоящая бабушка.

— Не хочу! — только и бурчала про себя Вѣрочка.

— А не хочешь, такъ запретить ей входъ въ монастырь.

И мать Варлаама тутъ же, позвавъ пребывавшую подъ воротами старицу Степаниду, отдала ей приказаніе отнынѣ, иначе какъ на службу—въ церковь—Вѣрочку въ монастырь отнюдь не пускать.

— Какъ паршивую овцу изъ стада вонъ!—зашипѣла ей вслѣдъ мать Секлетея, когда та выходила вонъ, опозоренная, какъ казалось дѣвочкѣ, навсегда. А мать Степанида, можетъ быть, вспомнивъ ангела съ огненнымъ мечомъ у вратъ рая, вооружилась даже розгой на случай самовольнаго вторженія «Вѣтерка» въ отнынѣ заповѣданный ей Эдемъ.

V.

Вѣрочка съ ума сходила отъ отчаянія. Безъ монастыря жизнь ей казалась лишенною всякаго смысла. Не цѣлые-же дни было слоняться по комнатамъ бабушкинаго дома да бѣгать въ крошечномъ садикѣ, гдѣ всего-на-всего цвѣли два куста розъ, клумба сирени, и высоко раскидывали надъ деревянною крышею свои пышныя вѣтви нѣсколько серебристыхъ липъ. Не разъ Вѣрочка подходила къ воротамъ обители, но, очевидно, запрещеніе еще не было снято, потому что, завидя ее, «бабушка Степанида» хваталась за розгу, стоявшую около въ нишѣ старой стѣны и, стараясь придать своему доброму старому лицу строгое выраженіе, грозила ею «Вѣтерку». «Вѣтерокъ» обѣгалъ стѣны монастыря—надѣясь встрѣтить вышедшую погулять Серафиму или наткнуться, какъ будто невзначай, на мать Варлааму—но увы! Какъ нарочно, въ эти дни никто изъ добрыхъ бабушекъ не показывался сюда, а злыхъ и сама Вѣрочка не хотѣла встрѣтить. Такъ прошло до субботы, когда Вѣрочка могла показаться въ церкви монастыря. Она пошла туда съ до боли бьющимся сердцемъ и низко склонивъ головку. Она поэтому не замѣчала добрыхъ взглядовъ, которыми при видѣ ея перебрасывались монахини. Вѣрочка забилась въ уголокъ и все время проплакала въ немъ, а когда служба кончилась, дѣвочка незамѣтно выскользнула вонъ, добралась до садика матери Секлетеи и застыла въ немъ, озираясь, чтобы кто-нибудь ненарокомъ не увидѣлъ ее прижавшеюся къ старому-старому клену, въ чащѣ котораго меланхолически посвистывала какая-то вечерняя пташка. Вонъ вдали показалась сама «злая бабушка». Идетъ черезъ силу—видимо, трудно ей. Сѣла отдохнуть на скамейку.

— Простите, бабушка...—только и могла проговорить дѣвочка, и вся опять залилась слезами, припадая къ рукѣ старой монахини.

*

— Что ты, что ты? Богъ съ тобой!.. Ну, полно, Господь проститъ!

И вдругъ у самой Секлетеи задрожалъ подбородокъ, скривился ротъ, и она заплакала тоже, гладя желтою сморщенною рукой голову Вѣрочки.

Понятно, запрещеніе было снято, и когда не знавшая этого Степанида при видѣ Вѣрочки вооружилась было своимъ огненнымъ мечемъ, — дѣвочка храбро прошла мимо, не обращая никакого вниманія на розгу. За то она очень сдружилась съ матушкой Секлетеей - и тотчасъ-же послѣ уроковъ у бабушки Серафимы бѣжала къ ней, садилась около и слушала ея разсказы о несчастіяхъ, постигшихъ бѣдную старуху въ мірѣ. «И почему это она казалась мнѣ злою?»—думала Вѣрочка, всматриваясь въ отекшее лицо монахини и стараясь отыскать въ его чертахъ пугавшую ее прежде суровость. «Просто, она больная, потому она и жалуется на все...»

А работа шла своимъ порядкомъ.

Мать Серафима, очень образованная женщина и талантливая художница, мало-по-малу посвящала ее во всѣ тайны искусства. Сначала тринадцатилѣтняя Вѣрочка—грунтовала ей полотно, потомъ мѣшала краски, наконецъ, стала писать платье святыхъ и Богородицъ, которыхъ изображала Серафима. Талантъ дѣвочки развивался съ такою быстротою и яркостью, что сама учительница не разъ уже посматривала на нее съ задумчивою нѣжностію.

— Скоро надо будетъ тебя отправить отсюда!—наконецъ проговорила она какъ-то.

— Куда, зачѣмъ?.. Я не хочу!—всполошилась Вѣрочка.

— Да вѣдь здѣсь тебѣ нечему больше учиться. Ни, оригиналовъ, ни образцовъ. Дарованіе у тебя большое— а у насъ въ обители простора ему не будетъ. Замретъ оно.

— Нѣтъ, не замретъ. Буду писать образа.

— Тебя на большее хватитъ. Я поговорю съ бабушкой.

Но бабушка на всѣ убѣжденія Серафимы только разводила руками.

— Что ужъ... Какъ ужъ... Гдѣ ужъ...—повторяла она, очевидно, теряясь передъ непобѣдимою логикой монахини.

— Поймите вы, Анфиса Кириловна, вѣдь этакаго таланта, какъ у вашей внучки, я отродясь еще не встрѣчала.

— Дай Богъ, дай Богъ!—озабоченно повторяла та, безсознательно при этомъ пряча подъ платокъ выбивавшіяся сѣдыя космы волосъ и щуря глаза, такъ что вокругъ располагались тысячи добрыхъ морщинокъ.

— Выростетъ и выучится она вамъ на утѣшеніе.

— Спаси васъ Господи!

— Я-то тутъ не причемъ. Курица орленка высидѣла. Вотъ и все мое дѣло въ этомъ. А вѣдь у вашей Вѣрочки такой талантъ, что впослѣдствіи ею Россія гордиться будетъ.

Бабушка струсила и замахала на нее руками.

— Ну ужъ!.. Что ужъ...—недовольно бормотала она.

— Въ Петербургѣ—въ академіи такихъ нѣтъ.

— Была я въ Петербургѣ...—оживилась бабушка,—какъ же, мать моя, была... Все вывѣски. И внизу вывѣски, и вверху вывѣски, и впереди, и позади. Ажно я сомлѣла на извозчикѣ отъ вывѣсокъ этихъ, зажмурилась да такъ, ничего не видя, до дочери и доѣхала. И потомъ у меня недѣлю голову кружило. Какъ открою глаза, такъ эти вывѣски и представляются. А какъ пріѣхала—должно быть, гдѣ именины праздновали, все на извозчикахъ ѣздилъ народъ. Поздравлять вѣрно. И впередъ, и назадъ, и впередъ, и назадъ. Такъ я потомъ ужъ до самаго отъѣзда изъ комнаты своей и не выходила.

— Ну, вотъ видите, а придется вамъ отправить туда внучку. Ужъ это я вамъ говорю. Грѣшно погребать здѣсь такой талантъ.

— Вотъ ужъ... какъ ужъ... Я ужъ и не знаю...—разводила та руками.

— Да вы за нее не бойтесь, дѣвочка вастетъ сер

ная, не испорченная, изъ нея большой толкъ будетъ впослѣдствіи. Сами на нее не нарадуетесь.

— А я ужъ думала ее въ монастырь сдать, все спокойнѣе.

— Боже васъ сохрани,—такую жизнь да погребать здѣсь... И изъ мыслей выкиньте это.

Сунулась бабушка къ игуменьѣ-матери Варлаамѣ съ тѣмъ-же планомъ—сдать дѣвочку въ монастырь,—та на нее окрысилась еще пуще.

— Что-ты, мать, въ умѣ-ли? Выпей холодной водицы, да перекрестись. Экую юницу и въ обитель! Да тебѣ за это Господь ни на томъ, ни на этомъ свѣтѣ не проститъ. Рано еще хоронить-то ее! Пусть поживетъ, свѣтъ увидитъ, людей посмотритъ. Ну, устанетъ, собьетъ ее съ ногъ и затреплетъ мірскою непогодой — тогда милости просимъ къ намъ. А то экій бутонъ захотѣла! Еще и не распустился онъ — еще и лепестокъ-то краешкомъ сквозь почку не прорѣзался, а ты ужъ его высушить хочешь. Да кто тебѣ экую злоехидную глупость внушилъ? Поди, мать, помолись сначала.

— А вѣдь сказано, мать: «преходитъ образъ міра сего».

— Ахъ, ты неподобная, неподобная! Горе, коли отъ Писанія научатся, а сердцемъ его разобрать не могутъ. Ну, да что мнѣ съ тобой говорить. Нѣтъ моего благословенія отнынѣ и во-вѣки. Вотъ тебѣ и аминь! Потомъ сама будешь благодарить меня.

— Ужели-же ее въ свѣтъ пустить?

— Не сейчасъ, пока пусть ростетъ да крѣпнетъ, что деревцо молодое. Ну, а потомъ...

— Засмѣютъ ее. Вѣдь она какъ выросла здѣсь—въ смиреніи чувствъ—ничего-то она изъ мірского обихода и не вѣдаетъ. Охъ, засмѣютъ ее мірскіе... Что ужъ.

— Ты, вотъ, изъ Писанія все и не къ мѣсту, и не кстати. А по поводу твоихъ умствованій, да боязни того, что засмѣютъ, разверни-ка Экклезіастъ—тамъ и найдешь: «якоже гласъ тернія подъ котломъ, такъ смѣхъ безумныхъ... И все суета!» Поняла?

— Поняла! Что ужъ! Спасибо за наставленіе, матушка Варлаама.

— Ну, и Богъ съ тобой, ну, и аминь тебѣ, и будетъ. А глупостей больше ты мнѣ не толкуй и самыя эти зловредныя мысли оставь втунѣ. Дуръ и безъ тебя много. Достаточно ихъ для обиходу Господь Богъ создалъ. Хватитъ.

VI.

Такъ и продолжала рости Вѣрочка.

Годы шли за годами. Она все тянулась, да тянулась вверхъ. Молодое дерево крѣпло и листвѣло, радуясь солнцу и Божьему свѣту. Казалось, ничто не измѣнялось вокругъ. Какъ прежде, она носила черное люстриновое платье съ кожанымъ поясомъ, такъ и теперь его носитъ,—только что оно подлиннѣе стало, и подъ нимъ уже не видать ся молодыхъ сильныхъ ногъ. И поясъ шире ей дали, и грудь развилась надъ нимъ, плотно охваченная незатѣйливою матеріей, скроенною монахинями, почти по монашески. Тотъ-же, что и въ дѣтствѣ у нея, черный платокъ на головѣ— прежде только надѣвала она его въ дурныя погоды, а въ хорошія бѣгала простоволосою, а теперь,—постоянно, какъ выходитъ изъ дому—въ немъ. Нельзя — большая, стыдно ходить непокрытою. Какъ-будто и въ окружающемъ ее мірѣ не измѣнилось ничего. Та-же мать Степанида сидитъ подъ воротами, только сгорбилась больше. «Въ землю росту теперь!»—пояснила она сама какъ-то... Шла мимо нея вчера Вѣра—посмотрѣла-посмотрѣла на нее вратница—и головой покачала.

— Что ты, бабушка Степанида?

По старой памяти, она и теперь звала ее бабушкой, какъ и другихъ въ ея дѣтствѣ постригшихся монахинь.

— Охъ, искушеніе!.. Ишь ты налилась-то какъ. Словно яблоко садовое... Охъ, искушеніе!.. А дьяволъ-то поди—ходитъ-ходитъ—сомущаетъ-сомущаетъ и во сняхъ, и на яву.. Все, подлецъ, думаетъ—съ какой-бы стороны при-

ступить ему къ дѣвицѣ... Охъ, палилась дѣвушка, охъ, спѣетъ-спѣетъ яблочко-то...

Вѣра долго смѣялась потомъ, вспоминая о сокрушавшейся надъ нею Степанидѣ.

Дѣйствительно, самъ себѣ незамѣтно выровнялся «Вѣтерокъ» въ красивую и здоровую дѣвушку. И при этомъ не потеряла она времени даромъ. Напротивъ, уже во многіе сельскіе храмы посланы образа ея письма и, по словамъ теперь уже стараго стараго отца Симеона, передъ ними и плачутъ, и молятся простые и немудрящіе люди, слезы которыхъ до Господа доходчивы, хотя здѣсь, въ суетномъ мірѣ, и незамѣтны. Скоро и въ соборную церковь повѣсятъ ея работу. И не только сама она работаетъ, но вмѣстѣ съ сильно одряхлѣвщею матерью Серафимой и другихъ учитъ этому. Теперь на ихъ рукахъ цѣлая школа рисовальная въ монастырѣ—и не мало бѣлицъ пристрастилось, съ благословенія матери Варлаамы, къ этому дѣлу, «рукомеслу», какъ называютъ онѣ.

Подумаешь, сколько лѣтъ прошло уже!.. А она все чувствуетъ себя по-прежнему облюбованною монастыремъ дѣвочкой-подросткомъ. Точно еще вчера она рисовала «бабушку Секлетею» вылетающею изъ трубы съ растопыренными руками... Злую бабушку Секлетею, оказавшуюся потомъ такою доброю. Глубоко лежитъ теперь она въ сырой землѣ, на монастырскомъ кладбищѣ. Часто ходитъ къ ней «въ гости» Вѣрочка помолиться надъ простымъ сѣрымъ камнемъ, на которомъ и надписи никакой не высѣкли... Положили старушку, изнемогшую отъ земныхъ недуговъ и успокоенную смертью, по ея собственному приказанію, подъ старымъ вязомъ, засыпали землей и плитой покрыли, чтобы крѣпче ей лежалось и покойнѣе спалось.

— Нельзя безъ надписи то,—увѣщевала ее тоже сильно состарившаяся мать Варлаама.

— Пошто нельзя?

— А спросятъ: кто похороненъ-то, за кого молиться?

— Похоронена «раба Божія», молитесь за «рабу Божію». Онъ, мать, и безъ имени разберетъ!..

Тихо шумитъ надъ ней старый вязъ, сочная трава пробивается изъ-подъ плиты, голубые цвѣтики наивно улыбаются въ ней всякій разъ, какъ вѣтромъ повѣетъ и заколышетъ траву, заслоняющую имъ свѣтъ Божій. И Капитолина рядомъ умѣстилась—пріятельницы при жизни-то были, всегда и въ церкви рядышкомъ стояли—молились. А вонъ тамъ подалѣ — Ирина-юродивая... Эта, умирая, въ себя пришла, у всѣхъ прощенія просила: «если и обидѣла кого, такъ не своей, а бѣсовской во мнѣ пребывавшею силой». Надъ нею и плиты нѣтъ, такъ—холмикъ. Вѣрочка обсадила его сиренью, а наверху розовый кустъ принялся. И пышно распускаются надъ тѣломъ юродивой яркія алыя розы. Каждая съ горсть величиной. Любитъ, должно-быть, мать сыра-земля бѣдную старицу малоумную, вволю питаетъ цвѣты, украсившіе ея послѣднюю темную келью. Изъ школы, въ хорошіе дни, бѣгаетъ сюда Вѣра и, забившись въ кустахъ сирени, прислушивается ко всему, что творится кругомъ него. Могилу бабушки Секлетеи чижи полюбили, цѣлые утра и вечера стрекочутъ, возятся и дерутся въ листвѣ надъ нею. Какая-то крохотная пичуга у самой плиты въ густой травкѣ, подъ защитой мертвой монахини, даже гнѣздо свила, прошлый годъ и птенцовъ своихъ въ немъ высидѣла... Сначала пугалась Вѣрочки, а потомъ перестала ея бояться—та ей корму доставляла сюда и около сыпала вдоволь, чтобы самцу не далеко было летать за нимъ... И могилку Ирины — соловьи любятъ и зяблики.

VII.

Благодаря удачѣ Вѣрочки, ставшей «большою художницей», мать Варлаама благословила открыть Серафимѣ съ этою вострушкой рисовальную школу. Теперь уже работало здѣсь много бѣлицъ и дѣвушекъ — «бѣдныхъ родственницъ», жившихъ у монахинь на ихъ иждивеніи. Когда, кончивъ съ матерью Капитолиной (не «бабушкой»,

потому что «злая бабушка Капитолина» давно уже покоилась на молчаливомъ кладбищѣ, рядомъ съ Секлетеей). Вѣрочка, обойдя монастырскія службы, хлѣбную и квасную, вошла въ эту школу, — тамъ уже собралось нѣсколько ея подругъ. Это была большая комната съ высокими окнами. Очевидно, здѣсь все вновѣ. Стѣны, ничѣмъ не оклеенныя, пахли еще лѣсомъ. На сосновыхъ доскахъ даже проступалъ смоляной потъ; некрашеный полъ, ничѣмъ не прикрытый, представлялъ много скважинъ и щелей, наскоро задѣланныхъ мохомъ. У оконъ, въ разныхъ положеніяхъ, стояли треножники и мольберты, тоже своего ручного монастырскаго дѣла. Окна были отворены, и теплый воздухъ, вмѣстѣ съ запахомъ цвѣтовъ, вольно струился сюда, чуть шевеля волосы бѣлицъ и обвѣвая ихъ разгорѣвшіяся на работѣ щеки.

— Ну что, Саша?—подошла Вѣрочка къ одной изъ своихъ пріятельницъ.—Какъ у тебя работа?

— Да вотъ, боюсь, не совладаю съ глазами.

— Ой-ой-ой, какъ ты ихъ раскосила ангелу!—засмѣялась Вѣрочка.

— А ты, чѣмъ смѣяться, взяла бы да и поправила!

— Сейчасъ. Дай наглядѣться. Искусство какое дивное. Ты бы ужъ на лбу третій глазъ ему написала.

— Злая!

И вспыхнувшая Саша взяла да и мазнула пальцемъ по свѣжимъ краскамъ.

— Милая, прости, я только пошутить хотѣла.

Но у Саши крупныя слезы сыпались на румяныя, здоровыя щеки.

— Не думаешь же, что я обидѣть тебя пожелала.

И совсѣмъ растерявшаяся дѣвушка взяла свою подругу за руку.

— Нѣтъ, я не то... А досадно, что второй годъ работаю, и ничего у меня не выходитъ. У Ижотовскихъ богомазовъ лучше. Должно быть ужъ такая уродилась я неспособная!

— Захотѣла—два года, я семь лѣтъ училась здѣсь.

— Нѣтъ, нѣтъ, должно быть, ужъ изъ меня и выйти ничего не можетъ.

— А знаешь почему? Бабушка Серафима состарилась, у тебя и образцовъ хорошихъ нѣтъ. Коли бы у насъ было съ чего, такія-ли мы бы картины здѣсь писали. Помнишь, прошлый мѣсяцъ, для Спасо-Евфимьевской церкви что мы дѣлали. Змія геенскаго рисовали и въ пасть ему какихъ-то изломанныхъ грѣшниковъ посадили. Одинъ у меня даже вышелъ такъ, точно онъ между зубами завязъ... А что подѣлаешь — просятъ! Церковь сельская, бѣдная. Коли-бы мы ей не написали такого образа, пришлось бы заказывать имъ у богомазовъ... А еще раньше, помнишь? Мать Варлаама просила тоже для знакомой церкви написать и тоже змія... А въ пасть къ нему желѣзнодорожный поѣздъ съ грѣшниками и кочегаромъ-чортомъ на локомотивѣ, на всѣхъ парахъ летитъ. Далеко-ли уѣдешь съ такими работами? Теперь опять отецъ Серапіонъ присталъ: напиши, да напиши ему «Славу св. креста». Прежній нашъ старикъ Симеонъ гораздо больше понималъ. Я было сдѣлала набросокъ «святой животворящій крестъ» наверху въ рукахъ у раба, съ котораго спали цѣпи—а внизу разныя племена идутъ къ Нему по скалѣ на поклоненіе... Показала — никуда, говоритъ, не годится. И народу это вовсе не понятно. А какъ же надо?—спрашиваю. А вотъ, говоритъ, возьми да и изобрази честный крестъ Христовъ посреди картины на облакѣ. Справа его посади Божію Матерь, слѣва любимаго апостола Іоанна. А кругомъ гирляндой—патріарховъ, отцовъ церкви, мучениковъ — это будетъ первый кругъ и чтобы каждый въ одѣяніи подобающемъ и пышномъ, а второй кругъ—христіанъ племени Іоафетова—тоже въ подобающихъ костюмахъ, третій кругъ—разные азіатскіе народы и всѣ творятъ поклоненіе животворящему древу—а внизу разверзлась и пышетъ пламенемъ неугасимымъ геена и въ этой геенѣ, въ пламени грѣшники—голые, изможденные, уязвленные.

— Вотъ и работай ему. Откажемъ—онъ обидится, а старикъ хорошій, за что его трогать?

— Это и мы напишемъ такую. Ты только рисунокъ дай.

— Сегодня займусь. Ужъ онъ меня вчера встрѣтилъ, спрашиваетъ: что же, когда? Видишь, у него братъ священствуетъ въ небольшомъ селѣ — и церковь бѣдная у него, такъ онъ съ благословенія матери Варлаамы обѣщалъ ему въ подарокъ такой образъ. И еще просилъ гдѣ нибудь въ уголкахъ поставить слона, верблюда, льва и орла, чтобы исполнилось по писанію: всякое дыханіе да хвалитъ Господа.

Саша, забывъ слезы, уже улыбалась.

Въ сѣняхъ послышался старческій кашель. Кто-то тамъ тяжело шаркалъ калошами по полу.

— Мать-игуменья, мать-игуменья!—всполошились бѣлицы и, какъ распуганныя пташки, разлетѣлись въ разныя стороны, каждая къ своему дѣлу.

Сырая, тяжелая и, очевидно, тоже начинавшая страдать водянкою, мать Варлаама, задыхаясь, взошла въ мастерскую, помолилась истово на образа и по привычкѣ пытливо оглядѣла дѣвушекъ.

— Здравствуйте, дѣточки, здравствуйте. Спаси васъ Царица Небесная!

— Вашими молитвами святыми, матушка...

— Ну, гдѣ моимъ грѣшнымъ молитвамъ до свѣтлаго престола Ея вознестись... Работаете, дѣвицы?

— Работаемъ, матушка-игуменья...

— Ну, труждайтесь, труждайтесь... Труждающійся да ястъ, сказано... Въ тунеядствѣ бо нѣсть спасенія... А Серафима не пришла еще?

— Нѣтъ...

— По слабости своей... Постояла старушка Божья въ церкви и устала... Ну, пусть ее отдохнетъ. А гдѣ Вѣрочка?

Дѣвушка подошла и поцѣловала ей руку.

— Ишь, какая краса богоданная ростетъ! Не здѣсь бы

тебѣ быть — въ большомъ городѣ, по твоему таланту, слѣдовало бы тебѣ учиться, и стала бы ты тогда писать всѣмъ на удивленіе. А то, что у насъ: житіе скудное, примѣра чтобы настоящаго не видишь... Ну, да никто какъ Богъ! Коли даетъ онъ тебѣ силу такую, значитъ, и на дорогу настоящую, какъ Моисея древле, выведетъ. Ты только Его помни. Что бабушка?

— Кланяться приказала.

— Когда она хлѣбы-то печь будетъ?.. Испекла бы мнѣ булокъ. Такихъ, какъ у нея, ни у кого нѣтъ... Ну, садитесь, садитесь и работайте, а я посмотрю, порадуюсь на васъ...

И мать Варлаама сѣла въ углу въ большое кожаное кресло и, радуясь прохладѣ и молодымъ лицамъ кругомъ, только вздыхала да перебирала четками.

— Слѣдовало бы мнѣ поученіе вамъ сказать, какъ въ свѣтѣ и монастырѣ жить, себя соблюдать и Богу угождать, да ужъ очень я немощна и трудно мнѣ балакать съ вами, молодыми. Смѣяться-то вы хоть не станете, а про себя подумаете, пожалуй: «и что это старая разболталась...» Орина? Ты это что—Егорія пишешь?

— Да, матушка, благословите.

— Ладно. А змія чуднаго подъ нимъ кончила? Что-жъ ты ему сизыя крылья сдѣлала! Надо ему сѣрыя, какъ у мыши летучей.

— Да краски такой не хватило.

— Охъ, недостатки наши! А жало ему на хвостѣ забыла?

— Нѣтъ, у него во рту жало.

— А ты и на хвостъ посади. Все страшнѣй будетъ. Опять же лапы ему дала ты короткія. Вытяни — тебѣ ничего не стоитъ, а богомольцу все наставленіе... Прежде лучше писали. Помню, я еще молодая была, — съ батюшкой въ монастырь одинъ ѣздила, такъ тамъ Егорій былъ настоящій—не на конѣ сидѣлъ, а на львѣ крылатомъ, а у чудовища изъ пасти-то вмѣсто зубовъ зміи огнедышащіе торчали... Ажно задрожала я, какъ уви-

дѣла, и изъ ноздрей у него пламя исходило, а изъ глазъ — стрѣлы сыпались. Это внушительно было... Ну, вотъ и мать Серафима ползетъ. Здравствуй, здравствуй!..

— Удостоили посѣтить, мать Варлаама?

— Да вотъ влѣзть-то влѣзла, а вылѣзти и трудно. Толста и стара, и ноги не слушаются.

— А вы бы изъ бѣлицъ кого взяли... Все бы она васъ подъ локотокъ.

— И впрямь!.. Орину, что-ли? Она сильнѣй другихъ-то... Не тяжело тебѣ будетъ?

— Помилуйте, матушка, я съ полнымъ моимъ удовольствіемъ, съ радостью.

— Ну, пособи старухѣ... Потомъ, какъ доживешь до моего — и тебѣ подсоблять будутъ. Да... Эко ветхость моя, да забывчивость!.. Вѣрно на покой пора... Изъ города благодѣтельница генеральша Ольга Васильевна, дай ей Господь многія лѣта, прислала вамъ красокъ разныхъ, кистей и картинъ. Смотрѣла я, спаси ее Богъ, можетъ быть, по ея скусу и хорошія картинки, а по моему — никуда не годятся! Все деревья, да рѣки, да горы... А то еще и съ козлищами есть, и съ елепями. Ну, да въ Священномъ Писаніи про еленей сказано: «Аки елень на источники водные». Значитъ, и то во спасеніе. А вотъ про козловъ не хорошо упомянуто. Я съ Ориною и пришлю вамъ...

И старушка удалилась, опираясь на плечо сильной молодой бѣлицы.

— Вѣрочка, зайди ко мнѣ!—призвала ее Серафима.

У монахини и здѣсь была отдѣльная комната.

— Садись. Новость есть у меня... Вчера получила телеграмму. Знаешь, кто у меня сегодня будетъ?

— Не знаю... Родные?

— Еще-бы... Чего роднѣе—братъ мой. Слыхала ты? А, впрочемъ, я тебѣ и не разсказывала никогда. Моя вѣдь фамилія въ міру Ряднова была. Вѣрно ты видѣла въ журналахъ гравюры съ картинъ Рядновъ?

— Да развѣ это братъ вашъ?..

И Вѣра даже загорѣлась вся отъ любопытства.

— Да, какже.

— Вѣдь онъ какой художникъ—чуть не первымъ его у насъ считаютъ. Да, читала. Хоть бы глазкомъ однимъ взглянуть на него.

— И обоими посмотришь. Я познакомлю тебя съ нимъ.

— Вотъ счастіе-то! Вотъ радость!.. То-то я во снѣ сегодня видѣла, будто мать Варлаама благословила картину мою на колокольню повѣсить высоко-высоко... Только ужъ и смѣяться онъ станетъ надъ нами.

— Почему?

— А потому, простыя мы здѣсь, неученыя. Онъ-то, поди, къ какимъ привыкъ. Опять-же, что мы тутъ пишемъ? Ему вовсе, пожалуй, и не интересно будетъ все это.

— Ну, ладно!.. Тамъ увидимъ. Я сама о немъ лѣтъ пятнадцать извѣстія не имѣла. Онъ не писалъ—только, что въ газетахъ о немъ говорили, читала. Я пойду домой—приму его тамъ, а ты приготовь здѣсь, чтобы товаръ лицомъ показать. Нечего-де передъ нами голову-то задирать, мы сами не простыя...—смѣялась Серафима, уходя.—Да вотъ что,—остановилась она въ дверяхъ.—О тебѣ-то я съ нимъ отдѣльно говорить буду. Потому онъ многое можетъ, если захочетъ...

Когда ея покровительница ушла, дѣвушка сообщила вѣсть, казавшуюся ей такою счастливою, другимъ подругамъ своимъ; но тѣ, къ крайнему ея удивленію, не обратили на это никакого вниманія. Одна изъ нихъ, младшая Аленка, какъ ее звали тутъ, даже недовольно проговорила:

— Мало-ли ихъ сюда шляются. На прошлой недѣлѣ этотъ лохматый изъ города пріѣзжалъ—тоже, говорятъ, картины пишетъ. Какъ мать Серафима отвернулась, онъ и взялъ, дуракъ этакой, меня за подбородокъ, да и шепчетъ: «какая вы милочка...» Ну, я его тутъ, правду сказать, кистью съ кобальтомъ въ носъ и ткнула.

— Да вѣдь вы понимаете, это знаменитость! Его картины у самого царя есть.

— А намъ-то что, намъ онъ ихъ не подаритъ, а подарилъ-бы—куда ихъ дѣвать!

Вспомнила Вѣрочка, какъ она всегда мечтала повидать хоть бы одного заправскаго, настоящаго художника, показать ему, что она пишетъ, и отъ него услышать правду: стоитъ она чего-нибудь или не дальше и этихъ подругъ своихъ пошла — богомазка простая, только съ претензіями большими. И по ночамъ ей снилось, что видитъ она то одного, то другого изъ живописцевъ, картины которыхъ попадались дѣвушкѣ въ журналахъ разныхъ. Дивилась она имъ, любовалась ими. А теперь вдругъ ей страшно стало. Въ самомъ дѣлѣ, семь лѣтъ училась она, только этимъ жила и дышала, и вдругъ окажется, что ни къ чему. Да и въ самомъ дѣлѣ, что это все созданное до сихъ поръ ею? И она даже съ ненавистью посмотрѣла на свои полотна. Ей больно стало за нихъ. Она зажмурилась, представляя себѣ, какъ Рядновъ войдетъ, презрительно обѣжитъ ихъ взглядомъ и отвернется съ гримасой. А потомъ вопросъ бабушки Серафимы: «Ну, что, братецъ, какъ?..» И слѣдующій затѣмъ отвѣтъ: «Да ничего... Ничего... Старайтесь, барышни, старайтесь. Можетъ быть, что-нибудь у васъ и выйдетъ». Ей приливала кровь къ щекамъ отъ этого. Заранѣе дѣлалось стыдно. Вправду, ну что она, куда она годится со своею мазнею?.. Да развѣ что-нибудь могло изъ нея выработаться здѣсь, въ глуши?.. И чѣмъ больше шло время впередъ, тѣмъ невыносимѣе становилось ея состояніе. Если бы было возможно, она, кажется, сейчасъ бы взяла да ножемъ, ножницами, чѣмъ попало, изодрала всѣ эти холсты, чтобы отъ нихъ остались самые маленькіе лоскутья, и зашвырнула ихъ подальше, гдѣ ихъ и не отыскать никому. А то тоже выдумала—работать. Точно не одна у ней дорога. Пока при бабушкѣ, а потомъ въ монастырь. Здѣсь состариться, обратиться въ такую же бабушку и замереть совсѣмъ, переживая отъ заутрени до обѣдни, отъ обѣдни до вечерни, отъ вечерни опять до заутрени — и такъ каждый день и каждый

годъ, пока не снесутъ ее, старую, развалившуюся, отекшую, желтую, подъ тѣ вонъ высокіе вязы и не схоронятъ въ мать сыру землю.

— Что это ты, Вѣра?—спросила Саша.

— А?..—точно проснулась та.

— Да такъ ходишь изъ угла въ уголъ, ажъ половицы дрожатъ... И побѣлѣла вся. Неможется тебѣ?

Вѣрочка сѣла въ кресло и застыла. Она закрыла глаза—такъ бы просидѣть до вечера, а вечеромъ домой. И не видать бы этого Ряднова. Еще смѣяться станетъ. Она вѣдь не знаетъ, какой онъ А что если сказаться теперь больной, да уйти. Одно—мать Серафима обидится, пожалуй... Нечего дѣлать, надо ждать. И она сидѣла и ждала, между тѣмъ какъ сердце ея, словно маятникъ, отбивало свое время; сидѣла, безсознательно глядя въ окно на голубое небо, на вершины какихъ-то деревьевъ, на птицъ, пролетавшихъ мимо, и что-то весело и счастливо чирикавшихъ ей на-лету. Она и сама не знала, сколько времени пробыла такъ.

Орина, провожавшая игуменью, влетѣла въ мастерскую какъ сумасшедшая.

— Идутъ, идутъ!..—кричала она изъ сѣней.

— Кто идетъ-то?

— Мать Серафима съ какимъ-то цивильнымъ... Сюда идетъ.

И, сжавъ губы по-монашески и опустивъ глаза внизъ,—шмыгъ за свой мольбертъ.

VIII.

Вѣрочка опять зажмурилась и когда открыла глаза, въ мастерскую уже входила бабушка Серафима съ братомъ.

Ставъ въ уголъ, дѣвушка оттуда вглядывалась въ знаменитаго художника. Онъ былъ высокъ ростомъ и нѣсколько сутуловатъ. Глаза, вдумчивые, во все всматривались по привычкѣ пристально, точно наблюдая и

отмѣчая всюду характерныя черты. На блѣдномъ лицѣ—чужими казались большія чувственныя губы и энергическій, прямой подбородокъ. Высокій лобъ его начиналъ уже лысѣть, и въ рѣденькой бородкѣ серебрились раннія сѣдины.

— Вотъ, братъ, и мое царство! Недаромъ и я, Рядова, въ молодости-то вѣдь кое-чему училась; не совсѣмъ, какъ видишь, забыла.

— Да у тебя и талантъ былъ. Если бы ты не пошла въ монастырь... Правду сказать, я тогда былъ очень...

— Оставь объ этомъ!—строго оборвала его Серафима, и какая-то тѣнь промелькнула по ея лицу.

— Что хорошо здѣсь у васъ—это виды изъ окопъ.

И, не обращая вниманія на сидѣвшихъ за мольбертами ученицъ, принявшихъ смиренный видъ, чтобы показаться совсѣмъ «по монашески» скромными, онъ подошелъ къ ближайшему окну, да и застылъ тамъ, не отрывая взгляда отъ картины, раскидывавшейся передъ нимъ. Дѣйствительно, было чѣмъ залюбоваться! Мастерская на холмѣ, за нею внизъ шелъ довольно крутой откосъ, занятый монастырскими цвѣтниками и садомъ. Въ лощинѣ пониже, молодыя деревья охватило весеннею зеленою дымкой, легкою, какъ пухъ, и пышною, какъ облако. Изъ этого чуднаго царства первой листвы, еще не огрубѣвшей и не утратившей нѣжнаго аромата, подымались колоколенки и купола, и то прятались, то снова выходили на свѣтъ бѣлыя зубчатыя стѣны съ большими угловатыми башнями. Еще дальше змѣилась рѣка, и далеко-далеко раскидывалась лѣсная глушь... Облако изъ-за нея вползло на небо, круглое, могучее—все оно по краямъ точно затлѣло подъ солнечными лучами.

— Да... есть много хорошихъ живописцевъ, а лучше природы не найдется мастера,—задумчиво проговорилъ гость.

— Вы, мірскіе, выражаетесь—«природы», а мы Творцу, великому художнику, все приписываемъ,—наставительно бавила сестра.

— Все равно.. Смыслъ одинъ.

Въ его голосѣ чувствовалась усталость, иногда онъ даже срывался, какъ у всѣхъ, кто много думаетъ и наблюдаетъ, но мало говоритъ.

— Однако картины этого Великаго Художника ты еще увидишь, а теперь не угодно ли тебѣ моихъ ученицъ посмотрѣть... Вотъ рекомендую—бѣлица наша Стефанія.

— Это вы что же рисуете?—мягко спросилъ Рядновъ, съ трудомъ оторвавшись отъ окна. Замѣтивъ смущеніе страшно покраснѣвшей дѣвочки, онъ постарался заговорить съ ней еще ласковѣе.—Право, не дурно... Только что это такое?

— Я... я не знаю...—совсѣмъ пылала та, отводя глаза въ сторону и опуская ихъ внизъ. Очевидно, ей хотѣлось уйти въ землю отъ этихъ разспросовъ.

«Э! Да онъ не страшный совсѣмъ»,—думала про себя Вѣрочка.

— Какъ не знаете?.. Вѣдь сами вы этого не видѣли?

— Нѣтъ видѣла.

— Гдѣ же это?.. Развѣ вы были въ Сиріи?..

— Какой Сиріи?

— Да вѣдь это сирійская женщина у колодца.

— Я не была въ Сиріи,—широко раскрыла глаза дѣвушка.—Я это въ журналѣ, въ «Нивѣ» видѣла.

— Ты, братъ, не смущай ихъ. Наша обитель, видишь ли, совсѣмъ бѣдная. Такая бѣдная, что выписывать образцы и оригиналы намъ далеко не по карману. Слава Богу, когда гравюры хорошія попадаются, да и тѣхъ мало. Ну, вотъ мои ученицы берутъ иллюстрированные журналы и пишутъ съ нихъ. А раскрашиваютъ или по моему указанію, или какъ Богъ на душу положитъ. Для образовъ и для картинъ изъ Священнаго Писанія это ничего. Мы потомъ даримъ ихъ нашимъ посѣтителямъ и богомольцамъ, посылаемъ въ скудные и убогіе приходы. Еще какъ благодарны бываютъ!

*

— Да я ничего...—улыбнулся Рядновъ.—Хотите, я пришлю вамъ оригиналовъ?

— Чего?—подняла брови удивленная дѣвушка.

— Оригиналовъ пришлю.

— Это что же такое?—перевела она недоумѣвающій взглядъ на мать Серафиму.

— Картины, съ которыхъ вы писать будете.

— Не знаю, право... Какъ матушка-игуменья благословитъ.

— А сами вы не желаете?

— Я... право... мы не можемъ такъ... Какъ матушкѣ будетъ угодно...

Рядновъ перешелъ къ слѣдующему мольберту и едва-едва могъ подавить улыбку, такъ и просившуюся на его губы. Онъ долго смотрѣлъ на знаменитаго Георгія Побѣдоносца.

— Вы это съ чего-нибудь пишете?

— Нѣтъ, изъ головы!—отвѣтила бойкая Ирина.

— Кто-жъ это вамъ посовѣтовалъ снабдить чудовище двумя жалами?.. Впрочемъ, это у него на хвостѣ не жало, а копье... Должно быть, мать-природа выростила его...

— Я сама видѣла,—смѣялась Ирина.

— Во снѣ?

— Нѣтъ, въ нашей церкви — въ селѣ. Тамъ точно такой Егорій.

— Ну, пойдемъ, пойдемъ дальше.

И мать Серафима, взявъ его за руку, повела къ другимъ бѣлицамъ. Рядновъ подолгу останавливался передъ нѣкоторыми. Бѣдныя, всѣ почти писали воспроизводя на полотнѣ гравюры, помѣщавшіяся въ иллюстрированныхъ журналахъ, доступныхъ по цѣнѣ обители. Далъ журналъ Рафаэлевскую Мадонну, и Мадонна эта списывалась пятью-шестью ученицами, при чемъ краски клались ad libitum—кто какую хотѣлъ. Одна дѣлала Богородицу съ черными глазами, другая съ голубыми. Одѣяніе ея то являлось краснымъ, то желтымъ, то синимъ, то зеле-

нымъ. Рядновъ покачивалъ головою и хвалилъ, стараясь быть ласковымъ, и это старанiе, несмотря на незнакомство съ жизнью и людьми, такъ и читала въ его тонѣ Вѣрочка. Въ ней ужъ сказывалось чуткое самолюбiе талантливой натуры, такъ часто замѣняющее опытность. «Да, хорошо, очень хорошо... Поздравляю васъ... Большiе успѣхи», ронялъ онъ, напоминая крупнаго столичнаго артиста, ненарокомъ попавшаго зрителемъ въ плохой любительскiй спектакль, гдѣ никто ничего не знаетъ, всѣ врутъ, но врутъ наивно, играютъ скверно и неловко, но отъ души. А онъ всѣхъ хвалитъ и на всѣ вопросы отвѣчаетъ однимъ: «великолѣпно». Что дѣлать, положенiе обязываетъ быть любезнымъ. Такимъ образомъ, обходя работы бѣлицъ и дѣвушекъ, Рядновъ началъ уже утомляться и все чаще и дольше заглядывать въ окно, за которымъ изъ-за лѣса серебрилось занявшее художника круглое облако, поднимаясь все выше и выше на темно-голубое небо. «И это не дурно... Я радъ, что случай позволилъ мнѣ познакомиться съ вами!» лѣниво ободрялъ онъ краснѣвшихъ ученицъ, какъ вдругъ остановился, точно его ударило что-то, раскрылъ широко усталые глаза, да такъ и впился въ одну картину.

— Ради Бога... это кто у васъ рисовалъ?.. Да нѣтъ, не у васъ это вовсе... это подарили вамъ?

Серафима торжествовала. Вѣрочка стояла вся бѣлая, какъ мѣлъ... Вотъ-вотъ упадетъ въ обморокъ...

— Нѣтъ, этого не можетъ быть, чтобы здѣсь писали...

— Я для тебя подъ конецъ берегла сюрпризъ. Душа моя, Вѣрочка, подойди...

Видя, что та не двигается съ мѣста, она взяла ее за руку и притянула къ себѣ.

Вѣрочкѣ казалось, что полъ ходуномъ ходилъ подъ нею.

— Вотъ рекомендую тебѣ и художницу. Это наша общая внучка, а мы всѣ ея «бабушки».

Но Рядновъ вовсе не слушалъ ея. Онъ самъ схватилъ Вѣрочку за другую свободную руку и грубо толкнулъ ее къ картинѣ.

— Это вы писали, вы? Да ну-же!

— Я!—чуть слышно отвѣчала Вѣрочка.

Рядновъ смотрѣлъ и молчалъ.

— Нравится?—спросила его Серафима.

— Сколько вамъ лѣтъ?—рѣзко обернулся онъ къ Вѣрочкѣ.

— Восемнадцать.

Онъ опять задумался.

— И это вы, вы однѣ?.. Безъ посторонней помощи?

— Я.

— И оригинала не было? Сами видѣли и сами написали?

— Да...

— Ну, такъ я васъ отъ души поздравляю: у васъ великій, слышите ли вы меня, *великій* талантъ!—подчеркнулъ онъ.

Точно небо раскрылось передъ нею. Даже закружило всю... Ей ли это говорятъ? И кто же!..

— Бѣгите отсюда и учитесь. Учитесь серьезно и много.

И онъ опять уставился пристальными глазами въ полотно, бывшее передъ нимъ.

Вѣрочка изобразила на немъ верхнюю амбразуру монастырской колокольни. За перилами стояла въ ней молодая монахиня, блѣдная, больная и въ одно и то же время кроткимъ и печальнымъ взглядомъ смотрѣла задумчиво внизъ... Куда? Глядя на нее, видно было, что, разумѣется, не на монастырь, а далеко-далеко за его стѣны. Цѣлая драма читалась въ этомъ лицѣ, полномъ такой тоски объ утраченномъ счастіи, чуть угадываемаго раскаянія о произнесенномъ обѣтѣ... Рядомъ на перилахъ помѣстился бѣлый голубокъ, точно собравшійся сорваться и улетѣть куда-то.

— Это зачѣмъ? Этого не нужно, это слишкомъ слащаво. Дайте мнѣ кисть. Нѣтъ ли ножика?

И онъ первно, порывисто счистилъ голубя прочь...

— Вонъ, вонъ его...—озабоченно повторилъ онъ.—Такія вещи сантиментальными деталями только портятся.

Потомъ сѣлъ, взялъ краски, замазалъ выскобленное мѣсто... Опять воззрился на лицо монахини, мазнулъ у нея подъ глазами разъ, другой. Они сдѣлались отъ этого еще глубже и выраженіе въ нихъ усилилось. Мимоходомъ поправилъ руку... Усѣлся поудобнѣе и, совсѣмъ забывъ, гдѣ онъ и что онъ, сталъ работать, кладя блики въ одномъ мѣстѣ, смягчая грубость мазка въ другомъ, здѣсь проводя морщину, тамъ слегка поправляя тонъ и все время объяснялъ, зачѣмъ это дѣлаетъ.. Рядновъ, заработавшись, не видѣлъ, что всѣ эти раскраснѣвшіяся, любопытныя личики бѣлицъ, обступившихъ его, изъ-за его плеча наклонялись, лихорадочно слѣдя за его работою и затаивая дыханіе... Окончивъ съ лицомъ монахини, онъ, чтобы лучше разсмотрѣть сдѣланныя имъ поправки, откинулся и нечаянно ударился затылкомъ о вздернутый носъ малорослой Алены. Та даже и не крикнула, а только присѣла отъ боли. Но художникъ даже не замѣтилъ этого...

— Дайте-ка мнѣ индиго!—приказалъ онъ.

Кисть его опять заработала, привычно, властно, смѣло. И вдругъ небо въ амбразурѣ колокольни — этотъ фонъ, на которомъ красиво выдѣлялась головка монахини,— стало жаркимъ... Такъ и почувствовалось, что теперь полдень, что солнце палитъ во всю, и что только здѣсь, на колокольнѣ, есть еще клочокъ тѣни и оживляющей прохлады...

— Фигура деревянная!—вырвалось у него. — Мало жизни у нея въ корпусѣ... И все это отъ того, что вы слишкомъ тщательно выписали платье, старались, чтобы оно на ней сидѣло хорошо. Это ложь передъ дѣйствительностью. То есть, не ложь, а... Ну, да все равно. Вотъ видите, какъ надо...

И онъ бросилъ нѣсколько черныхъ тѣней на монашескую мантію, раскинулъ на ней складки, и вдругъ тѣло стало живымъ. Всѣ увидѣли, что монахиня дѣйствительно опирается на перила, что и платье легло такъ, какъ лежитъ обыкновенно... Кончивъ все это, Рядновъ

всталъ и самъ изумился. Что это онъ въ самомъ дѣлѣ?

— Однако и захватили же вы меня всего... Большой, большой талантъ...

И ни съ того, ни съ сего онъ наклонился и, взявъ дѣвушку за голову, притянулъ къ себѣ и поцѣловалъ ее въ лобъ.

— Я вамъ въ отцы гожусь... Не смущайтесь... Говорю вамъ: много, много вамъ дано. А кому много дано, съ того много и спросится. Такъ вѣдь у васъ говорится?..—обернулся онъ къ матери Серафимы.

— А у васъ не такъ?—съ упрекомъ переспросила она, глядя ему въ глаза.

Онъ засмѣялся.

— Ну, объ этомъ послѣ потолкуемъ, сестра... Нѣтъ, какой алмазъ отыскался у тебя! Вотъ не ожидалъ! Да она и сама...

И только теперь Рядповъ обратилъ вниманіе на Вѣрочку; она уже пришла въ себя и стояла передъ нимъ счастливая, съ ярко разгорѣвшимися голубыми глазами, съ живымъ и свѣжимъ румянцемъ, залившимъ ей щеки. Въ волненіи она не замѣтила, какъ черный, уродливый платокъ, которымъ она завязывала себѣ голову, сползъ у нея и открылъ массу бѣлокурыхъ, бѣлѣе ея уже загорѣвшаго лица, волосъ.

— Да вы, барышня, и сами картина... Какъ звать-то васъ?

— Вѣра.

— А по батюшкѣ?

— Николаевна.

— Ну, Вѣра Николаевна, мы еще съ вами повидаемся и другія картины ваши посмотримъ. Потолкуемъ обстоятельно, какъ слѣдуетъ. Человѣку, такому какъ вы, любезности нечего говорить, надо указать, чего ему недостаетъ...

— Развѣ ты остаешься здѣсь?—радостно спросила Серафима.

— Да, я думаю даже поработать... Недѣли двѣ ассигную на это.

— Вотъ и отлично. Да гдѣ же ты помѣстишься?

— Я уже нашелъ себѣ комнатку, у монастыря у самого.

— У кого?

— А ужъ этого не знаю... Самъ не спросилъ, мнѣ не сказали... Ну, теперь пойдемъ къ тебѣ, сестра. Намъ обо многомъ, многомъ надо еще перетолковать и вспомнить... Прощайте, красавицы-дѣвицы, не поминайте лихомъ...

И онъ, возбужденный, вышелъ изъ мастерской уже безъ того выраженія усталости, которое сначала было замѣтно и въ лицѣ его, и въ голосѣ.

IX.

Счастливая, задыхавшаяся отъ радости, Вѣрочка бродила по монастырю.

Теперь, именно теперь, ей хотѣлось быть одною. Идти домой — тамъ начнутся разспросы бабушки; къ монахинямъ — онѣ тоже набросятся на нее, желая узнать, что сказалъ ей Рядновъ, что она думаетъ дѣлать... Въ самомъ дѣлѣ, что она думаетъ дѣлать? Теперь самой ей являлась эта задача — и она тщетно ломала себѣ голову надъ нею. Прежде другіе занимались этимъ, другіе тревожились, за нее и задумывались. Э! да не все ли равно, пока и такъ хорошо живется, и день свѣтелъ, и небо тепло и сине, и птицы поютъ громко, и вся душа ея ясна, какъ этотъ день, и безоблачно лазурна какъ небо, и поетъ какъ эти птицы. Дѣйствительно, въ ней все пѣло. Теперь ей хотѣлось только одного, чтобы никто не пришелъ и не подсмотрѣлъ, что съ нею дѣлается. Смѣяться станутъ! Потомъ, когда она освоится со всѣмъ, привыкнетъ къ этимъ радостнымъ ощущеніямъ, заберетъ себя въ руки, она сама пойдетъ къ нимъ... Только не сейчасъ, не сейчасъ...

Самое лучшее уйти къ покойникамъ.

Тамъ тихо, зелено, прохладно. Тамъ только вѣтки колышатся надъ безмолвными могилами, ревниво защищая ихъ отъ солнечныхъ лучей, чтобы они не мѣшали спать, не будили мертвыхъ. И Вѣрочка засмѣялась. Прежде, когда она была маленькой, ей самой казалось это такъ. Она вѣрила, что покойники просыпаются и выходятъ изъ могилъ, что ихъ только не видятъ живые, а они ходятъ между ними, подсказываютъ имъ, Богъ вѣсть съ какой стати, ни съ того, ни съ сего, разныя мысли, слова, зовутъ громко по имени, когда вы бѣжите одинъ или одна по аллеѣ, а оглянетесь—никого, только что-то словно смѣется въ воздухѣ, да холодная дрожь струится по остывающему тѣлу. Птицы—тѣ ихъ видятъ, оттого-то такъ громко и радостно онѣ поютъ надъ могилами. Особенно щеглы такъ и выкрикиваютъ свои: «здравствуй, здравствуй, здравствуй!»

И Вѣрочка пошла, какъ шутя говаривала она, въ гости къ «злымъ» бабушкамъ, ставшимъ потомъ такими «добрыми».

Вотъ купы вязовъ. Какъ важно и медлительно колышатся ихъ зеленыя вершины. Тихо-тихо шуршатъ опущенныя вѣтви, точно онѣ концами своими ласкаютъ кого-то, притаившагося въ травѣ, заигрываютъ съ кѣмъ-то, кто ловитъ ихъ оттуда невидимыми руками. Дерновая скамья надъ безымянною плитою бабушки Секлетеи. Сѣла Вѣрочка и смотритъ—въ ней самой расцвѣли, что ли, цвѣты эти, распустились пышно и вволю дышатъ теплымъ воздухомъ эти почки?.. Вонъ голубые глазки словно мигаютъ ей изъ травы лукаво и наивно.. «Насъ не видать», точно говорятъ они, «а мы всѣхъ видимъ—и тебя тоже, и знаемъ, что ты теперь счастлива и радостна, какъ счастливы и радостны мы». Вонъ розовыя губы шиповника раскрылись безстыдно и жадно пьютъ прохладу, словно задыхаясь ею. Темнокрасныя гвоздики курятъ благоуханія, будто кадила, разсыпанныя въ травѣ... Роятся надъ ними съ сонным звономъ золотыя пчелы, заползаютъ во влажныя чашечки цвѣтовъ

со дна самаго пьютъ капельки проступившаго на немъ меда и, тяжело подымаясь, летятъ на дальніе ульи, къ пчельницѣ Аграфенѣ, что весь монастырь въ постные дни снабжаетъ такимъ вкуснымъ и, какъ слеза, чистымъ медомъ... Желтый куреслѣпъ нахально подымается, траву переростаетъ гордый цвѣтокъ. Чудится ему, что онъ удержалъ на лепесткахъ своихъ золотой солнечный лучъ и бахвалится, и не совьется никогда съ какимъ-нибудь другимъ... А птицы-то, птицы! Такъ и заливаются щеглы. Одинъ уцѣпился за конецъ слабенькой вѣтки и старается во всю, точно горошина перекатывается по его горлу, и маленькіе булавочные глазки такъ и радуются, такъ и дразнятъ Вѣрочку. Чижи разодрались въ липѣ, только слышны ихъ крики и безпокойные голоса. И впрямь разодрались; желтый пухъ посыпался, должно быть, досталось кому-нибудь. Печально посвистываютъ дрозды... И они прилетѣли... Прислушивается, прислушивается Вѣрочка къ ихъ гаммѣ и никакъ понять не можетъ, на что это они жалуются, на кого, на какую обиду плачутся?.. Дрозды съ дѣтства съ самаго были ея любимцами. Затаясь въ кустахъ, забывалась она, глядя, какъ они комками швыряются въ траву, у самаго ея носа, точно камни, пущенные чьею-нибудь сильною рукою...

Хорошо!.. Такъ хорошо, что такъ бы и крикнула на весь этотъ благоухающій, поющій и согрѣтый солнцемъ міръ.

Онъ сказалъ, что у нея талантъ, большой талантъ... Онъ до того забылся, что засѣлъ за ея картину. О, она сохранитъ ее до конца жизни! Она по глазамъ его видѣла, что онъ не лгалъ. Такъ не лгутъ. Какъ будто загорѣлся самъ! И вѣдь никто ему не указывалъ на ея картину, самъ отыскалъ ее и остановился... Теперь ей и работать будетъ легче, теперь она знаетъ, чего можетъ ожидать отъ себя... О, она не сложитъ рукъ, не уподобится рабу лѣнивому, зарывшему данное ему богатство въ землю! Она пріумножитъ его, чтобы всѣ ее любили и гордились ею, и настоящая ея бабушка, и тѣ другія,

обительскія бабушки. И когда сдѣлается она знаменитою художницею, она пришлетъ имъ много-много своихъ картинъ, такъ много, что люди нарочно станутъ ѣздить въ этотъ захолустный монастырь, только бы полюбоваться ими... Жизнь теперь передъ нею ложится безбрежнымъ, широкимъ просторомъ. Алѣющая заря встаетъ; въ ея сіяніи тонутъ зловѣщія тучки, ни одной не видать... Неужели и всякій ожидающій ее день будетъ такъ же свѣтелъ и безмятеженъ?.. Какое это радостное чувство — увѣренность въ самой себѣ! Ничто не можетъ сравниться съ нимъ, ничто! Вчера еще могли быть колебанія, разочарованія, а сегодня легко и хорошо... И какими счастливыми она сдѣлаетъ ихъ всѣхъ, всѣхъ, кого любитъ съ дѣтства... Бѣдной больной старушкѣ Степанидѣ-подворотницѣ отдѣльную, свѣтлую, сухую и здоровую келью выстроитъ, большую печь прикажетъ ей вывести, чтобы ветхой деньми бабушкѣ тепло и уютно тамъ было. Нарочно для нея напишетъ картину: темную арку воротъ, грозно стоящую подъ нею съ розгой въ рукахъ и добрымъ-добрымъ лицомъ Степаниду, такимъ добрымъ, что чѣмъ строже она хмурится, тѣмъ добрѣе глаза ея свѣтятся, а вдали—нерѣшающуюся переступить черезъ этотъ порогъ потеряннаго рая, смущенную, раскраснѣвшуюся виноватую дѣвочку съ опущенными глазками, невѣдомо зачѣмъ перебирающую свое платье тоненькими пальчиками еще только складывающихся рукъ... И опять нарисуетъ и старицѣ Ѳеодосіи, помнящей «ся шкоды», подаритъ картину, изображающую ея пріятельницу, злую бабушку Секлетею, когда она, захвативъ за ухо маленькую шалунью, написавшую углемъ на стѣнѣ что-то обидное ей, обернулась и кричитъ на всю обитель, и изо всѣхъ келлій выбѣгаютъ встревоженныя простоволосыя монахини... Ахъ, какъ хорошо, какъ хорошо!.. Теперь довольно, не станетъ она изображать ни змѣевъ крылатыхъ, ни чудовищъ огнедышащихъ, ни грѣшниковъ изъязвленныхъ съ головками змѣй, поселившихся въ ихъ тѣлѣ, и съ надписью изъ пасти каждой змѣи, какой именно

грѣхъ она собою представляетъ. Впрочемъ, нѣтъ, еще одно исключеніе сдѣлаетъ она, такъ и быть, для матери Варлаамы. Самую страшную на ея вкусъ напишетъ ей картину, съ адомъ, съ исковерканными осужденными въ немъ грѣшниками—какъ закажетъ ей простодушная игуменья.

— Оставаться ли мнѣ здѣсь?..

И она въ первый разъ равнодушными глазами оглядѣла обитель.

Точно что-то въ эти два-три часа сдѣлалось съ этими старыми стѣнами. Будто принизились онѣ и облупились еще болѣе, и колокольня словно въ землю вросла, и купола ихъ потускли. . И самый соборъ отсюда сквозь деревья такимъ неуклюжимъ смотритъ, и слишкомъ суровы угодники, написанные на его стѣнахъ... У входа, у самыхъ дверей въ соборъ, спитъ монахиня на стулѣ... Мухи ее облѣпили всю... Сладко спитъ... И все кругомъ спитъ также... Да, теперь ее, еще вчера такую простую и наивную дѣвушку, міръ зоветъ и неудержимо влечетъ къ себѣ. Широкій и загадочный какъ море, столько лѣтъ тщетно бившійся неугомонными волнами въ эти старыя стѣны... Туда, туда, скорѣе—на удачу! Пусть вѣтеръ надуваетъ паруса, пусть непогода несетъ ея ладью... Навстрѣчу зарѣ, ярко свѣтящей ей, навстрѣчу тѣмъ невиданнымъ берегамъ, о которыхъ до сихъ поръ только читала она, но никогда ихъ не видѣла даже во снѣ!

И будто все перевернулось... Разомъ что-то оборвалось въ ея сердцѣ...

Надъ церковью Варвары-великомученицы глухо ударилъ колоколъ... Другой отвѣтилъ ему съ главной колокольни, и два этихъ полныхъ, густыхъ и тягучихъ звука, переплетаясь и волнуя застоявшійся воздухъ, понеслись въ высотѣ далеко-далеко... Вслѣдъ за ними мальчишески задорно, словно въ перебѣжку, зазвонили маленькіе колокола тонепькими и радостными голосами... Опять загудѣли большіе — и окрестъ ожило все спавшее, все замершее было въ полуденномъ зноѣ... Неужели тамъ, въ этомъ суетномъ морѣ «міра прелестнаго», она не услы-

шитъ больше этихъ колоколовъ, подъ звонъ которыхъ она росла здѣсь и радовалась, и печалилась,—колоколовъ, встрѣчавшихъ ея утро и провожавшихъ ея вечеръ?.. Какъ часто они отгоняли отъ нея дурныя мысли, какъ благоговѣйна и свята казалась тишина, смѣнявшая ихъ торжественную и важную молвь!..

И Вѣрочка ни съ того, ни съ сего разрыдалась, да такъ, что все еще цѣплявшійся за вѣточку вяза щегленокъ сорвался прочь и камешкомъ ударился въ чащу липъ, гдѣ продолжали возиться неугомонные чижи...

X.

Мать Варлааму за послѣднее время начала одолѣвать тоска. Не душевная, происходящая отъ разочарованій, несбывшихся надеждъ,—нѣтъ, въ этомъ отношеніи равновѣсіе игуменіи каждому могло бы показаться завиднымъ. Ни къ чему болѣе она не стремилась, къ смерти готовилась, ни въ чемъ не сомнѣвалась. Постигла ее тоска тѣлесная.

— Ногъ прежде не чувствовала,—говаривала она,— а нынче чувствую, и не болятъ, а вотъ знаю, что есть онѣ,—тянетъ ихъ какъ-то, ну и въ поясницѣ томленіе. Лягу—повернуться трудно, встать хочу—встать больно. Сказано: плоть немощна. Сидѣть тоже нудно, а ходить пойдешь, ноги подкашиваются. Сдѣлаешь шага два-три и ужъ такъ бы и привалилась куда...

Выслушавъ подробный отчетъ о посѣщеніи Рядновымъ ея рисовальной школы, довольная за нее и счастливая похвалой «сугубаго гостя» (ипостасный господинъ, сказываютъ, въ самомъ Питерѣ его знаютъ и уважаютъ, какъ же! Знаменитый господинъ, не шалда какая праздношатающая!), немного разволновалась она, походила-походила по своей кельѣ, и на воздухъ ее потянуло. За послѣднее время, впрочемъ, всѣ ея прогулки совершались въ заколдованномъ кругѣ монастырскаго кладбища. Все она выбирала себѣ могилу сама. («Ой, пора-пора! Кость

мозжитъ, земля въ землю просится, и душенькѣ то въ лохмотьяхъ этихъ», указывала она на свое отекшее, тучное тѣло,—«куда какъ трудно—на волю ей пора, ждетъ—не дождется, скоро ли призоветъ ее къ себѣ Царь Небесный»). Нравилось ей и мѣстечко у юродивой Ирины—липы цвѣли тамъ, и пчелы роились, и кувшинчики голубѣли таково ли привѣтливо да ласково; и около Капитолины тоже хорошо было, вязы тамъ къ самой землѣ опускали свои вѣтви, и цѣлые дни по нимъ суетились и щебетали птицы... Такъ и сегодня позвала она свою бѣлицу, сильную, простую дѣвушку Ѳеклисту, ушедшую въ обитель отъ отцовскихъ побоевъ.

— Ну-ко, блаженная, спаси тебя Богъ, подмоги-ка мнѣ старой да хворой.

Та взяла ее подъ локотокъ.

— А ногами-то я и сама перебирать еще въ силахъ... Эхъ, старость, старость!.. Пришла я сюда такая же, какъ ты, сильная да здоровая. Животрепящая была бабочка, что говорить.. Самая животрепящая! Ну, а теперь пора, въ землю росту вишь... Какъ осень придетъ, такъ и я съ лѣтомъ уйду отъ васъ. Спасайтесь безъ меня, голубки...

Пришла она на кладбище и только что потянула «ѳиміамы цвѣточные» («цвѣты-то тоже Богу молятся, у нихъ свой языкъ, не словами, а ароматами», объясняла она Ѳеклистѣ, на что та только сопѣла да хмыкала), вдругъ видитъ, сидитъ и плачетъ на дерновой скамьѣ любимица ея Вѣрочка.

— Что ты, радость? Ишь!.. Обидѣлъ кто тебя? Подь ко мнѣ.

— Никто не обидѣлъ, это я такъ, бабушка... Мнѣ, напротивъ, отлично!

— Отъ радости плакать не надо. А ты помолись — и пройдетъ... Слышала я, слышала, какъ тебя питерскій-то богомазъ превознесъ. Сказываютъ, знаменитый онъ господинъ, и отъ всѣхъ вельможъ ему идетъ сугубое вниманіе. Ну, дай Богъ, дай Богъ,—вздохнула она,—дѣвица ты выросла у насъ умная, простая, хорошая... Нельзя

про тебя ничего дурного сказать. Недаромъ мы на тебя сколько годовъ радовались. Говорила мнѣ Серафима, охъ, искушеніе, что онъ тебя въ Питеръ зоветъ учиться... Ну, что-жъ... И я давно твоей бабушкѣ говорила, не слѣдъ соколу-то ясному жить съ утицами сѣрыми... Да не слушала она меня. Ну, а теперь вотъ и ипостасная особа то же самое скажетъ...

— Ей нельзя ѣхать, бабушка. Куда ей старой и дряхлой...

— Отчего нельзя? Она старая? Какая она старая, коли ей... поди и шестидесяти пяти лѣтъ нѣтъ.

— Шестьдесятъ семь.

— Ну, вотъ... Я вотъ старая. На восьмой десятокъ склонило!.. Что же ты думаешь?

— А и сама не знаю. Коли одна поѣду—не перенесетъ...—Коли Господь ей твердости не дастъ—не перенесетъ. Въ преклонности какъ перенести! Охъ, искушеніе... Иной разъ человѣцы и распустили бы хвосты павлиномъ, а Богъ-отъ тутъ: смирись, говоритъ, и не превозвышайся, да... Объ томъ ты и плачешь?..

— Нѣтъ... А такъ, и хорошо мнѣ, и смутно...

— Ну, это слезы легкія... если отъ хорошаго. Смотрю я, смотрю, дѣтка, вотъ въ уголокъ этотъ, что между Капитолиною-то и затворницей нашей Меланіей—святая была, должно, теперь тамъ молится за насъ недостойныхъ—и очень мнѣ куточекъ этотъ по душѣ... Такъ бы и легла я тамъ. Ты какъ думаешь—красиво, а?..

— Очень, бабушка... А вамъ зачѣмъ?

— Да все же могилку-то себѣ еще вживѣ приспособить хочу... Что же, благословить что ли Акимку рыжаго, пущай его, спасенный, роетъ. Ѳеклиста, сбѣгала бы ты къ нему утречкомъ завтра... Исподволь-то, не торопясь, и ему легко, и мнѣ любо станетъ. По крайности загодя увижу, какъ лежать буду.

— Рано вы, бабушка, сбираетесь.

— Молодому-то все рано. А Богъ знаетъ и спрашивать не станетъ, а какъ часъ придетъ, и иди къ нему

на судъ. «Что ты, скажетъ, грѣшная раба»... Охо-хо-хо! А и тотъ вонъ уголочекъ около юродивой нашей, около Ирины, тоже хорошъ,—тѣсно маленечко, ну, да мы съ нею въ землѣ-то не поссоримся Рукъ-то тамъ не раскинешь, лежи, какъ положатъ. Ужъ подождать, что ли? Слышь, Ѳеклиста, завтра ты не замай Акимку, я еще подумаю. Ну, Господь тебя спаси!.. Возьми-ка меня, дѣвушка, подъ локотки, вотъ такъ... Недуги наши...

И, поддерживаемая сопѣвшею Ѳеклистой, игуменья пошла домой...

И легко, и радостно, и смутно было на душѣ у Вѣрочки. Она недолго оставалась здѣсь и направилась опять къ себѣ въ мастерскую. Тамъ бѣлицы вѣрно про нее говорили—какъ вошла она, такъ и смолкли. И заработали сильнѣе.

— Чего вы? То какъ чечотки языками звоните, то словно воды въ ротъ набрали...—весело замѣтила Вѣрочка.

— А мы, дѣвушка, про тебя судачили!—засмѣялась ей Алена.

— Ну что-жъ такое. И при мнѣ можно.

— Вотъ Маша-то ужъ и замужъ тебя выдала.

— За кого это?

— А за адаманта этого брульянтоваго, за самого-то пресвѣтлаго Ряднова.

— Тоже нашли,—покраснѣла Вѣрочка.—Да онъ на меня и не посмотритъ—что я передъ нимъ?

— Небось, еще какъ посмотритъ. Въ глазахъ-то у него какіе хвостики виляютъ, сдѣлай милость!

— Ужъ, вѣрно, давно и женатъ онъ.

— А гдѣ кольцо? Кабы женатъ былъ, кольцо бы носилъ... Я ужъ и то на руки ему смотрѣла.

— Старъ онъ для Вѣрки-то... Полно вамъ, дѣвки, дурить. Эки несуразныя! То словно казанскія сироты сидятъ, то распустятъ, лукавки, языки и давай болтать ими, что овцы хвостомъ.

— Это Ирина, потому что ей самой королевичъ-то нашъ понравился,—смѣялась Алена.—Такую она теперь

напишетъ картину, что матушкинъ братецъ сейчасъ ей пословъ персицкихъ съ дарами пошлетъ и за себя ее возьметъ. И станетъ тогда Ирина-то наша, дѣвоньки, каждый день по зарямъ умыватися, шелковымъ платомъ утиратися, пряниками вяземскими закусывать.

Кругомъ всѣ захохотали.

— Онъ, сказываютъ, здѣсь гдѣ-то себѣ и горенку нанялъ. Рисовать будетъ у насъ. Обитель ему очень по душѣ пришлась.

— Что-жъ, давай Богъ, и насъ прославитъ. Станутъ сюда люди ѣздить, намъ гостинцы возить.

— Стоеросовые, для тебя. А что, дѣвоньки, можно въ монастырѣ свадьбы вѣнчать?

— Еще чего. Ужъ не ты ли собираешься за Акимку рыжаго?

— Нѣтъ, ее банный домовой облюбовалъ—какъ смеркнется, такъ онъ, косматый, и ходитъ кругъ ея кельи, ходитъ да урчитъ: у-у-у!

Все такая-же, смутная и радостная шла домой Вѣрочка... Она даже позабыла со Степанидой попрощаться, къ крайнему неудовольствію старушки.

— Ишь, какая забвенная стала! Аль языкъ у тебя, у вострухи отвалился?—заворчала подворотница.

— Прости, бабушка... И въ самомъ дѣлѣ забыла!

— Богъ проститъ... Старому человѣку, сама знаешь, только и радости, что уважаютъ его да почитаютъ.

— Я не хотѣла тебя обидѣть.

— Знаю... ты меня прости... Сидишь здѣсь, сидишь... Рада бы перемолвиться—да вотъ только Жучка одна и есть... Собесѣдница!

Старая собака, тоже вся побѣлѣвшая, захлопала хвостомъ о землю, поднимая съ нея пыль.

— Ветхи мы съ тобою стали, ветхи... Анфисѣ Кирилловнѣ кланяйся отъ меня, вострухи...

Вѣра побѣжала къ себѣ не по дорогѣ, а полемъ. Въ дверяхъ дома она замѣтила хлопотавшую о чемъ-то Устинью.

— Что ты это?

— Гости у насъ... Принесло чертей! — отмахивалась она, крайне недовольная.

— Какіе гости?

— Да бабушка жильца пустила мірского. Не было еще печали!

Вѣрочка вошла въ горницу и удивилась даже. За столомъ, въ ожиданіи обѣда, сидѣлъ вмѣстѣ съ бабушкой, матерью Серафимой и Рядновъ.

— Я и не зналъ, что у васъ нашелъ себѣ комнатку, — радостно улыбнулся онъ ей. — Ну, и слава Богу. Я-то очень радъ. Станемъ мы теперь рисовать вмѣстѣ. Я васъ поопытнѣе — чего еще не знаете, покажу, анъ, смотришь, и самъ помолодѣю съ вами.

Бабушка — точно ее обнесло всю — только моргала да крестилась.

— Что съ тобою? — пристала къ ней внучка.

— Какъ ужъ... что ужъ.. и въ толкъ не возьму... Не разберусь ужъ. Такъ онъ про тебя наговорилъ мнѣ, что и ухамъ не вѣрю. Точно съ неба сверзилось. Жили-жили тихо, скромно, благословенно — и вдругъ, невѣсть, какимъ вѣтромъ навѣяло... И то, и другое. И такая ты, и сякая... Какъ ужъ жить-то тутъ, я и ума не приложу.

— Какъ жили, такъ и жить будемъ.

— Охъ... улетишь ты у меня, пташка. Не удержать тебя теперь въ клѣткѣ нашей убогой.

Вѣрочка только смѣялась, цѣлуя старушку.

Апфиса Кирилловна, заботясь о пріумноженіи внучкина капитала, сдавала, случалось, богомольцамъ нѣсколько комнатокъ со столомъ въ своемъ домѣ. Городской ямщикъ прямо къ ней привезъ Рядпова, и тотъ нанялъ себѣ помѣщеніе именно здѣсь. Ему все нравилось тутъ: и чистота комнатъ, и идиллическій складъ жизни, и сама богобоязненная старушка, и ворчливая Устинья, и даже котенокъ, вылѣзшій изъ ваты ему на встрѣчу и сладко такъ и дремотно замурлыкавшій у него на колѣняхъ, съ бѣлымъ пушкомъ на носу и наивными, глупыми, весе-

лыми глазами. Когда же онъ пришелъ сюда вмѣстѣ съ сестрою, и та сообщила ему, что это домъ Вѣрочки, Рядновъ обрадовался еще больше. До сихъ поръ въ немъ не угасло еще святое пламя любви ко всему прекрасному.

Несмотря на то, что позади за нимъ были долгіе годы изсушающей работы, что жизнь на первыхъ порахъ вовсе не щадила его, а обколачивала отовсюду,—художникъ сберегъ въ душѣ способность радоваться всякому таланту. Другіе въ его годы уже дѣлались ремесленниками, болѣе или менѣе совершенными, но повторяющимися, выработавшими себѣ тѣ или другіе шаблоны и думающими лишь объ одной наживѣ. Когда онъ вспоминалъ сверстниковъ, съ которыми вмѣстѣ когда-то учился въ академіи, потомъ ѣздилъ въ Римъ и горѣлъ любовью къ вѣчнымъ идеаламъ красоты и правды—ему за нихъ становилось и больно, и стыдно. Такими-ли они были тамъ, подъ темно-голубыми небесами Италіи, до перваго, крупнаго успѣха. Его успѣхъ этотъ не испортилъ, не развратилъ, не загасилъ въ немъ души... Понятно, съ какимъ радостнымъ изумленіемъ ничего не обѣщавшей ему глуши, онъ, какъ библейскій елень, жаждавшій источниковъ водныхъ, наткнулся на родникъ чистаго и свѣжаго таланта, какимъ именно представлялась ему Вѣрочка. Да, сидя здѣсь, за столомъ, и отвѣчая на разспросы сестры, онъ въ то же время задумывался, какъ бы, во что бы то ни стало, вытащить отсюда эту дѣвушку на свѣтъ, на просторъ и поставить ее, свѣжею и сильною, на прямую дорогу искусства. Онъ былъ идеалистъ до сихъ поръ, можетъ быть, именно поэтому онъ не сдѣлалъ себѣ богатства, а пріобрѣлъ только крупное имя. Онъ работалъ немного, но всякое его произведеніе заставляло подниматься на ноги тѣхъ, кому дорога была художественная правда. Всѣ живописные цехи, сектанты искусства сходились въ уваженіи къ нему. Критика находила для него столько восклицательныхъ знаковъ и прилагательныхъ, что въ ея распоряженіи для другихъ уже не оказывалось таковыхъ. Можетъ быть, поэтому онъ и былъ

чуждъ зависти, что его никогда не сравнивали съ другими, а ихъ именно примѣряли на него... Ему не больны были чужіе успѣхи, потому что его успѣхъ никогда не шелъ книзу. Можетъ быть! Зависть рождается незамѣтно. Это микроорганизмъ, котораго появленія не подмѣтить никакъ. Онъ сказывается впослѣдствіи, уже расплодившись въ душѣ и сердцѣ и заразивъ ихъ своимъ быстро развивающимся ядомъ. Рядновъ заговорилъ съ растерявшеюся бабушкою о томъ, что ей необходимо будетъ переѣхать въ Петербургъ или Москву, гдѣ ея внучка найдетъ настоящихъ профессоровъ и истинную школу. Анфиса Кирилловна сначала было не поняла его, а потомъ, когда въ ея памяти воскресли вывѣски и извозчики, извозчики и вывѣски, вывѣски вверху, вывѣски внизу, вывѣски по сторонамъ, вывѣски впереди и позади—ей страшно стало и закружило совсѣмъ старушку. Точно эти вывѣски уже замелькали въявь передъ нею и извозчики, и кучера, торопясь на чьи-то имянины, съ крикомъ и бранью загрохотали, обгоняли ее, пересѣкали ей путь, громыхая дребезжащими колесами по крупнымъ булыжникамъ мостовой ..

— Что ужъ... Какъ ужъ!..—повторила она въ отвѣтъ.— Ужъ и не знаю...

— Да и знать-то нечего,—весело торопился что-то доказать ей новый жилецъ.—И знать нечего, а надо ѣхать!..

— Я ужъ... Не знаю ужъ... Помру скоро—тогда ужъ!

— Ну, вотъ,—съ неудовольствіемъ протянулъ онъ,— помирать собирается. Вы сначала на свою внучку порадуйтесь. Вотъ приведу я васъ на выставку, да какъ увидите вы сплошную и восхищенную толпу передъ ея картинами и услышите крики восторга и шопотъ одобренія (Рядновъ любилъ выражаться преувеличенно, въ этомъ отношеніи камертонъ у него былъ высокъ и тонъ приподнятъ), тогда ..

Но что такое тогда—старушка не соображала.

Слово «выставка» опять напомнило ей вывѣски—онѣ,

казалось, ужъ и теперь снова мелькаютъ передъ нею. Она не нашла покоя даже и у себя, куда зашла отдохнуть, и все сидѣла съ опущенными руками.

XI.

Вѣрочка недолго оставалась съ гостями. Она ушла къ себѣ въ комнату. Ей такъ хотѣлось одуматься, пережить все случившееся сегодня, все такимъ головокружительнымъ ураганомъ ворвавшееся въ миръ и покой ея существованія. Она сѣла на стулъ и засмотрѣлась въ раскрытое окно, за которымъ тяжело висѣли кисти сирени. Сытый, встопорщеный воробей суетливо прилетѣлъ, уцѣпился за подоконникъ, осмотрѣлъ всю комнату, уморительно наклоняя голову то вправо, то влѣво, потомъ взволнованно сталъ чистить носикъ и, громко чирикнувъ что-то, исчезъ за цвѣточною клумбой. Подъ нею была скамейка, куда дѣвушка уходила часто вязать и вышивать.

— Хорошо здѣсь у васъ!—вдругъ послышалось оттуда.

Вѣрочка разслышала голосъ Ряднова.

— Да, благодать. Главное — тишина эта. Вашихъ суетныхъ бурь мы не знаемъ. Истинно мирная пристань.

— Погоди, сестра. Забудь, пожалуйста, хоть на одну минуту, что ты монахиня.

— Какъ же это такъ? Не ожидала я отъ тебя.

— Ахъ, да я вовсе не хотѣлъ тебя обидѣть!—нетерпѣливо перебилъ онъ ее.—Я, напротивъ, очень уважаю данный тобою обѣтъ, спасайся, сколько и какъ можешь. Я о другомъ. У меня эта Вѣрочка изъ головы не выходитъ.

Вѣрочка только что хотѣла показаться въ окнѣ, какъ услышала свое имя. Вовсе не желаніе узнать, о чемъ они говорить будутъ, но какое-то смущеніе приковало ее къ мѣсту.

— Этакій талантъ, и гдѣ же развился—здѣсь. Въ глуши. Скажи, пожалуйста,—училась она чему-нибудь?

— Какже. Ты не смотри, что она такою простенькою выглядываетъ. Тутъ у насъ были образованныя монахини; теперь, правда, не стало ихъ: оскудѣла вѣра въ нашемъ сословіи, братецъ, охъ, оскудѣла!—Онѣ-то и занимались съ нею. Я тоже учила ее. И начитана она весьма. Людей только не видѣла, потому и кажется такою. А что, неловка она, что-ли, какъ на твой взглядъ?

— Нѣтъ, не о томъ совсѣмъ я. Людей, ты говоришь, не видала. Этого вотъ именно жаль. Твоя вина—ты бы могла ей свѣтъ показать и съ жизнью познакомить.

— Вотъ тебѣ и на!.. Грѣхъ съ тобою только. Вы, мірскіе, до всего доходите суетнымъ умомъ своимъ, а толкомъ разобрать ничего не можете, потому что не правдою Господнею живете, а своимъ свѣтскимъ мудрованіемъ.

— Ну, запѣла!

— Да гдѣ-жъ бы я ей свѣтъ показала! Слава Богу—всѣ мы здѣсь надежно отъ свѣта-то укрылись. На колокольню что-ли ввести ее, да оттуда ей: смотри-де свѣтъ, какой онъ!

— Мнѣ тебя не понять совсѣмъ, сестра... Вѣдь городъ близко, что же, ты могла завязать знакомства тамъ.

— Зачѣмъ это?

— Да хотя бы для нея.

— Не надо. Потому и выросла она голубицей чистою, что свѣтъ въ это дѣло мѣшаться не могъ. Какъ цвѣточекъ раскрылся подъ монастырской стѣной...

— Для художника не то надо! Ему сильныя ощущенія, какъ весенняя гроза, благодатны: талантъ его будятъ, душу живую воскрешаютъ въ немъ. Что же ты думаешь долго ее такъ при монастырѣ оставить? Ну, хорошо, положимъ, она здѣсь работаетъ, да вѣдь какъ? Подумай—полное отсутствіе техники. Изъ-подъ каждаго мазка у нея такъ и брызжетъ талантомъ, точно огонь изъ-подъ молота, а, въ сущности, посмотри, какъ она рисуетъ. Все это ужасно наивно, дѣтски. Вытяни руку ея монахини—больше самой будетъ. Ей надобна школа настоя-

щая. Разумѣется, будь я женатъ, забралъ бы я ее отсюда, и поминайте, какъ звали, не оставилъ бы вамъ такое сокровище.

— Да и мы не прочь отпустить ее. Только вотъ бабушка ея. Не выживетъ. А что касается города, то ты не бывалъ тамъ?

— Нѣтъ.

— Ну, такъ я тебѣ въ праздникъ... послѣ завтра хоть, покажу ихъ — полюбуйся!.. Чему бы тамъ наша королевишна научилась? Нѣтъ, это ты оставь. Слава Богу, что мы выростили ее такою.

— У нея есть какія-нибудь средства?

— Да, какже! У бабушки — тысяченокъ пятокъ, да отъ матери ея осталось ей столько же. Землица гдѣ-то, говорятъ, рублей четыреста въ годъ доставляетъ.

— Отчего бабушка ея не постриглась?

— Она и безъ того, видишь-ли, что твоя монахиня. Строгой жизни старуха. Пуще насъ еще всѣ обѣты исполняетъ. А только давно бы она постриженіе приняла, и мы бы охотно полюбили ее вѣдь, но тутъ есть секретъ какой-то. Она его намъ не разсказывала, а мы не разспрашивали. Отецъ Симеонъ былъ и зналъ—да молчалъ. Ни слова никому не говорилъ...

Вѣрочка еще въ первый разъ слышала объ этомъ. Она всполошилась вся даже—какой это секретъ отъ всѣхъ могъ быть у бабушки?

— Что-нибудь изъ ея прежней жизни или касающееся Вѣрочки?—спросилъ Рядновъ.

— Нѣтъ, видишь: когда была еще жива мать Капитолина, то она разсказывала, будто...

Дѣвушка вся насторожилась, но ей не суждено было сегодня узнать даже уголка заповѣдной тайны. Дѣло въ томъ, что Маруська, потягиваясь и мурлыча, взобралась было на подоконникъ и лапки оттуда свѣсила. Жмурясь на солнце, лѣниво помахивала пушистымъ хвостикомъ. Она уже засыпать стала, какъ вдругъ все тотъ же суетливый, злополучный воробей нахально помѣстился

на вѣтку у самаго ея носа. Маруська обидѣлась, поднялась и даже ротъ раскрыла. Задрожала вся, а наглецъ покачивался на стеблѣ сирени, какъ будто это вовсе до него не касалось, зачилькалъ, да такъ задорно и громко, что котенокъ намѣтился, примѣрился, выбралъ моментъ, когда воробей зачесалъ у себя подъ крылышкомъ, да и перемахнулъ къ нему... Увы! Маруська и не сообразила, что вѣтка, достаточная для воробья, ее не сдержитъ, и оборвалась прямо на мать Серафиму. Та подняла крикъ. Вѣрочка тоже должна была выйти изъ своей засады и побѣжала къ старушкѣ со стаканомъ воды въ рукахъ.

Мать Серафима успокоилась, но уже не отпустила отъ себя Вѣрочку.

— Сиди здѣсь, съ нами. Или скучно тебѣ?

— Нѣтъ. Отчего же?

При ней художникъ больше не разспрашивалъ сестру, и бабушкина тайна такъ и осталась пока невѣдомою для внучки.

— Учиться, учиться вамъ еще надо—много учиться!— обернулся къ ней Рядновъ.

— А вы долго учились?—нерѣшительно спросила она его и покраснѣла.

Обитель вовсе не научила ее непринужденно и безъ-застѣнчиво говорить съ посторонними.

— Я?—усмѣхнулся онъ.—я и до сихъ поръ учусь.

— Вотъ!..—подняла она брови.

— Вы удивляетесь? Учиться всегда надо. Наблюдай, копи впечатлѣнія и трать изъ этого капитала только проценты. Все изучай, что подъ руку идетъ. Тѣнь вотъ отъ этого куста легла на зеленую травку. Смотри, какъ травка кажется здѣсь и тамъ какъ?.. Человѣкъ попался— въ него всматривайся. Уродъ ли онъ, красавецъ ли—все равно. Даже дурную картину изучай, какъ бы у тебя ея недостатки не повторились. Смотришь и замѣчаешь, что въ ней только дальше проведено то, что у тебя въ самомъ зародышѣ есть, ну, и всѣ несовершенства твои ясно тебѣ сказываются. Это большая наука, Вѣрочка

трудная, копотливая. И читать надо — много читать. Чтобы писать человѣка, надо изучить его и въ прошломъ, и въ настоящемъ, да и не одного его, а и обстановку, въ какой онъ живетъ—страну его, народъ... И все это надо. Все. Старые художники еще дальше шли. Слыхали вы о Микель Анджело, Леонардо да-Винчи?

— Какъ же, и видѣла гравюры съ ихъ картинъ.

— Да, ну такъ они прежде, чѣмъ кисть въ руки взять, анатомами были, изучали тѣло человѣческое. Оттого и рисунокъ у нихъ такъ силенъ и правиленъ. И фигуры ихъ всѣ такъ пропорціональны. Рядомъ съ художественной, идетъ у нихъ и техническая правда... А у насъ нынче начинаютъ иначе работать. Нутромъ все — есть талантъ и давай писать швабрами, — чѣмъ небрежнѣе, тѣмъ лучше... Впрочемъ, вотъ и сами увидите...

— Гдѣ?

— Не все же вы здѣсь сидѣть будете... въ колодцѣ этомъ.

— Въ чемъ?

— Въ колодцѣ.

— Какой же это колодецъ?—обидѣлась Вѣрочка и смѣло подняла на него глаза.—Здѣсь всѣ такіе хорошіе и добрые.

— Я не объ этомъ совсѣмъ. Я не противъ того, чтобы разбитые и измученные жизнью въ монастырь шли. Кому покой нуженъ, у кого и умъ, и мускулы для борьбы и работы ослабли. Ну, а вамъ здѣсь стыдно.

— Поговори, поговори съ нимъ!—недовольно отозвалась мать Серафима.—Онъ тебя научитъ... Іоаннъ Златоустъ какой выискался.—И монахиня тяжело поднялась и переваливаясь пошла въ домъ. — Чайку попрошу собрать на воздухѣ.

Вѣрочка воспользовалась ея отсутствіемъ.

— Вотъ о чемъ я хотѣла спросить васъ. Что, по вашему, должна я сдѣлать?

— Бѣжать отсюда. Живая къ живымъ.

— Живымъ... И здѣсь не мертвыя.

— Талантъ—это обязательство. По немъ уплата съ васъ потребуется—и людьми, и Богомъ. Что же вы станете себя морить здѣсь!

— Такъ все и бросить?

— Да! И жалѣть нечего. Не навсегда прощаетесь. Вздумали и вернулись посмотрѣть, все ли здѣсь на своемъ мѣстѣ. Прямо, знаете, какъ хорошіе пловцы, трахъ въ воду съ головою! И чѣмъ скорѣе—тѣмъ лучше.

— Страшно!

— Чего страшно? Что жизнь помнетъ? Намъ, художникамъ, это на пользу бываетъ. Только объ одномъ надо заботиться—любовь къ человѣку сберечь у себя въ душѣ. Чтобы этотъ огонекъ не погасъ. Вотъ если его задуетъ—тогда плохо. Тогда отъ художника только мастеровой остается. Въ міръ, въ міръ, милая вы моя дѣвочка, и безъ оглядки! Обитель и безъ васъ стоитъ крѣпко. Вотъ мать Серафима, сестрица моя, увѣряетъ, что ее здѣсь легіоны ангеловъ сторожатъ. При чемъ же вы тутъ-то?

— А бабушка?

— Бабушка, бабушка... Что же ей вашу жизнь заѣдать! И курица не претендуетъ, когда ея цыплята выростутъ и...

— Что вы говорите это!—оборвала его негодующая дѣвушка.—Бросить тѣхъ, кто меня любитъ, кто жизнь свою на меня положилъ всю, кто только мной одной и дышетъ. А еще говорите, что надо любовь къ человѣку сберечь въ душѣ! Хороша любовь, если такъ близкихъ бросать. Круть, верть—и кончено.

— Да.. разумѣется, вы правы. Впрочемъ, вѣдь и оттуда вы хоть каждый день писать можете.

— Нашли! Замѣнили чѣмъ... Нѣтъ ужъ, знаете, лучше не смущайте меня—и безъ того отъ вашихъ словъ голова закружилась. Ходуномъ все кругомъ идетъ. Слушать-то васъ, я думаю, грѣшно даже.

А самое такъ и тянетъ слушать.

— Вотъ такъ его, Вѣрочка, торжествовала стоявшая у окна мать Серафима.—Что, братъ, ты думаешь, у вас

тоже есть она и не вашей чета. Нашелъ къ кому приравнять, къ курицѣ...

— А развѣ Вѣрочка не мірская?..

— Вѣрочка?..—запнулась монахиня.—Что-жъ что мірская, а все-таки она по-божьему живетъ. Невѣры вы. Кабы вѣрили да слово Божье помнили—и разсуждали бы иначе... Что сказано-то? Поди, и псалмовъ-то не знаешь, а весь свѣтъ произошелъ: «Свѣтильникъ ногамъ моимъ и свѣтъ стезямъ моимъ»... Ну, ладно, идите чай пить...—успокоилась она.—Всѣ вы какъ тѣ, о которыхъ Соломонъ въ притчахъ своихъ говоритъ: «Возненавидѣша бо премудрость—словеса же Господня не пріяша»...

А между тѣмъ зерно, зароненное Рядновымъ въ чуткую душу Вѣрочки, быстро пускало ростки и подымалось въ ней цѣлымъ міромъ неопредѣленныхъ и непонятныхъ ей самой стремленій. Первую ночь—она не спала до утра и прометалась на своей постели, сбрасывая Маруську на полъ, пробуя молиться и ощущая, что нѣтъ въ душѣ ея прежняго жара и благоговѣнія. Она зажгла свѣчку и хотѣла читать, но строчки двоились и троились въ ея глазахъ, мелькали передъ ними непонятныя, ничего не говорившія ея смятенному уму. Міръ—тотъ, разстилавшійся за стѣнами обители, искрился и горѣлъ передъ нею радужными красками. Она видѣла себя уже тамъ, среди другихъ людей, среди обстановки незнакомой ей, жизни чуждой, но такой увлекательной и блестящей, такой заманчивой и красивой. «Въ колодцѣ»,—повторяла она про себя... Хорошо ему говорить, свободному, ничѣмъ не связанному!.. «Въ колодцѣ»... И ей дѣйствительно дѣлалось и холодно, и душно. И тьма охватывала кругомъ, и точно въ самомъ дѣлѣ она опускалась все ниже и безвозвратнѣе на дно этого колодца... Заснула она только подъ утро и тяжелымъ, мучительнымъ сномъ. Когда бабушка вошла къ ней, Вѣрочка металась и стонала.

— Что ты... что ты, родная?..—разбудила ее та.

— Это ты... Ну, слава Богу. Мнѣ, невѣсть, что чудилось.

— Опять на колокольню, что ли, вѣшали? Ужъ вмѣсто картины не тебя ли самую?

— Нѣтъ. Хуже. Привидѣлось мнѣ, бабушка, что подползъ ко мнѣ большой болотный змѣй, весь сѣрый, въ черныхъ кольцахъ, и обвился онъ вокругъ меня и душить сталъ, а пастью прямо въ лицо мнѣ дышетъ и жаломъ грозитъ. Хочу я крикнуть—не могу, отбиться—руки не шелохнутся...

— Господь съ тобой!.. Это все отъ крови... кровь въ тебѣ ходитъ...

Весь этотъ день и слѣдующіе за нимъ дѣвушка избѣгала встрѣчъ съ Рядновымъ.

— Вы точно прочитесь отъ меня!—замѣтилъ онъ ей какъ-то, наткнувшись на нее у входа въ обитель...

— Нѣтъ, что же...—покраснѣла та.

— Хорошо дѣлаетъ...—отвѣтила за нее бабушка Степанида.—Что бы это за дѣвица была, коли бы она отъ мужскова сословія не пряталась. И завсегда ее хвалить за это буду. Значитъ, настоящаго природу. Не вѣтренница. И ты ее не упрекать за это долженъ, а, напротивъ, хвалить...

— Я ее и не упрекаю,—смѣялся онъ.

— Нѣтъ, мы тоже сидимъ-сидимъ подъ воротами да кое-что видимъ. Глазокъ-то и у насъ за все про все запущенъ. Насъ не обманешь. А ты слушай меня старуху, я хоть тебя, благородный господинъ, и не знаю, а зла и тебѣ не пожелаю... Присядь ко мнѣ, Вѣрочка... Хорошо дѣлаешь, что отъ кавалеровъ обѣгаешь... Бѣгай, бѣгай отъ нихъ, окаянныхъ...

XII.

Вѣра далеко не была такъ наивна, какъ могло показаться съ перваго взгляда. Правда, она совсѣмъ не знала жизни, но не знала ее только по своему личному опыту. За то ей много разсказывали о ней монахини, рѣдкая изъ которыхъ не пережила болѣе или менѣе силь-

наго потрясенія. Сверхъ того, дѣвушка много читала и, хотя безъ разбора но вдумывалась въ прочитанное, ставила себя въ положеніе тѣхъ, кого описывали ея книги, соображала, какъ бы она поступила на ихъ мѣстѣ, и надо сказать правду, не всегда была согласна съ авторами, создававшими эти положенія и находившими исходы изъ нихъ. Такъ и теперь, промучившись и продумавъ цѣлый день, она вечеромъ пришла домой, веселая опять, какъ пташка, обрадовавшаяся солнцу послѣ сѣраго дня и дождливой погоды. Она кинулась къ бабушкѣ, обвила ее руками, точно ее хотѣли отнять у нея, и не выпускала старуху.

— Постой, ну тебя, брысь!.. Фу!.. Что ужъ... Затормошила со смъ... Съ чего это ты?

— Знаешь, милая, хорошая... Вѣдь мы не разстанемся никогда!

Передъ Анфисой Кирилловной опять замелькали вывѣски, десятки, сотни, тысячи вывѣсокъ. Она отошла назадъ и руками замахала на внучку.

— Нѣтъ ужъ... Если такъ... Что ужъ! Поѣзжай ужъ одна... Богъ съ тобой. Куда мнѣ—я на первой станціи развалюсь.

— Это куда же ты меня гонишь одну?

— А туда... гдѣ это учатся... Я ужъ не знаю... ужъ это ты ужъ у другихъ спроси...

— Ну, бабушка, заужикала, теперь отъ тебя долго толку не добьешься!.. Слушай же лучше мое рѣшеніе. Садись вотъ такъ. Положи руки сюда. Отлично... — Она мимоходомъ поправила волоса. выбившіеся у старушки изъ-подъ чепчика.—Ну, слышишь... Я тебѣ буду теперь говорить! Никуда, бабушка, я отсюда не тронусь, а буду, какъ и прежде, жить себѣ здѣсь да поживать.

— Какъ же это... Это ужъ—я не знаю ужъ.

— Не жужжи. Такъ этому быть, и никто меня разговорить не можетъ.

— О чемъ вы это?—вошелъ въ эту минуту Рядновъ, цѣлый день работавшій сегодня у монастыря.

Вѣрочка сначала смѣшалась и по старой дѣтской еще привычкѣ взялась за неповинное платье и давай его тормошить своими тонкими и красивыми пальцами. Но улыбка, пробѣжавшая по лицу Ряднова, вернула ей самообладаніе. Она смѣло подняла глаза на него...

— Такъ, я бабушкѣ это рѣшеніе свое объявляла.

— Смѣю спросить, по какому вопросу?

— А относительно своего отъѣзда въ Петербургъ, учиться.

— Ну, значитъ, поздравить васъ?

— Да. Я остаюсь здѣсь, дома!

— Вотъ тебѣ и разъ,—опѣшилъ Рядновъ.—Какъ же это, барышня? А работать?

— Да вѣдь вы разсказывали, что начали двадцати двухъ лѣтъ. Да? Значитъ, у меня много еще впереди остается. Будетъ время. Успѣю...—И вся раскраснѣвшаяся, она отправилась къ себѣ —Бабушка!—крикнула она старушкѣ изъ своей комнаты.—Вамъ ужъ и одѣваться пора. Скоро зазвонятъ къ вечернѣ.

— Я сейчасъ-сейчасъ...

Старушка совсѣмъ развеселилась, и глаза у ней заблестѣли, и заходила она проворно, а кота даже за ухо дернула.

— Зачѣмъ, дрянь этакая, на комодъ забираешься, вотъ тебѣ!

Короче, ее нельзя было узнать теперь—ожила.

— Вотъ, видишь, какой еще ты молодецъ,—смѣялась ей Вѣрочка.—Да, ты молодецъ, а кошка дура, дура... Дура Маруська...

Какъ разъ въ эту минуту ударили въ колоколъ.

— Вотъ и опоздала,—совсѣмъ безпричиннымъ смѣхомъ смѣялась Вѣрочка.—Вотъ и опоздала!

Но та только накинула на себя большой ковровый платокъ и пошла.

— Меня вѣдь, старуху, никто не осудитъ!—оправдывалась она.—Мнѣ не передъ кѣмъ...

Служба сегодня шла у Варвары великомученицы.

Маленькая церковь вся горѣла огнями, было душно. Сильно пахло воскомъ и ладономъ. Мать Варлаама распорядилась открыть окна, и пѣніе молодыхъ монахинь разносилось далеко посреди высокихъ стѣнъ монастыря. Рядновъ тоже пошелъ туда, но не выдержалъ жары и кое-какъ выбрался сначала на паперть, а потомъ сталъ у окна. Голубой вечеръ все густѣлъ незамѣтно подкрадывавшимся къ западу сумракомъ. Двѣ-три звѣздочки, вспыхнувъ въ глубинѣ надъ обителью, робко замигали, словно смаргивая слезы... Художникъ засмотрѣлся въ открытое окно церкви. Желтый свѣтъ струился оттуда въ окутывавшіе его синіе потемки, желтый свѣтъ, то застилавшійся клубами сизоватаго дыма, то разгоравшійся огнистыми языками свѣчей. Онъ различалъ отсюда и матовый блескъ окладовъ, и черные силуэты монахинь, мирно опускавшихъ и подымавшихъ головы. Вотъ и русоволосая Вѣрочка стоитъ... Какъ ясно ея лицо, какимъ безмятежнымъ спокойствіемъ вѣютъ его черты!.. Хорошо ли онъ дѣлалъ, что звалъ ее въ омутъ житейскаго моря, подъ бури и грозы? Хватило ли бы у нея силъ, у выросшей здѣсь, подъ звонъ этихъ колоколовъ, въ тѣни надежныхъ стѣнъ? Хватило бы у нея энергіи тамъ?..

— Брось, оставь, не смущай!—говорилъ ему какой-то голосъ.—А лучше уходи прочь отсюда, не вноси раздвоенія и неразрѣшимыхъ сомнѣній въ эту свѣтлую душу...

А Вѣрочка, успокоенная и рѣшившаяся, молилась сегодня легко и хорошо. Ее ужъ ничто не мучило. Туча стороной прошла, не задѣвъ ея хрустальной души, не затмивъ ея прозрачности—такъ только тѣнь пробѣжала по ней и то мимолетная... Здѣсь она знаетъ всѣхъ, и всѣ ее знаютъ. Здѣсь ей привольно и легко... Чего же болѣе?.. Вонъ написанная ею Богоматерь—какъ хорошо смотритъ она въ перебѣгающемъ свѣтѣ лампадъ, колеблемыхъ вѣтеркомъ изъ окна, на всѣ эти блѣдныя, изможденныя, склоняющіяся передъ нею лица.. Можетъ быть, Вѣрочка и неправильно ее написала—да вѣдь лучшихъ здѣсь не было еще... И она начинала гордиться своей работой...

Пусть будетъ пока все, какъ было, а тамъ что загадывать? Богъ ей укажетъ.

Прошла еще недѣля. Рядновъ смотрѣлъ ея картины, училъ ее, но ни однимъ словомъ не заикался о прежнихъ своихъ планахъ. И она совсѣмъ сжилась съ нимъ и помирилась. Да и прежде она не сердилась на его вмѣшательство въ ея судьбу... Разъ она сидѣла въ мастерской и работала, какъ художникъ озабоченно вошелъ къ ней.

— Здравствуйте и прощайте, Вѣрочка Да благословитъ васъ Богъ!.. Такъ, кажется, по вашему?

— А по вашему развѣ иначе? — съ тихимъ укоромъ наклонила она голову.—Куда это собрались вы?

— Вотъ сейчасъ получилъ телеграмму, надо ѣхать, очень важное дѣло. Гдѣ мнѣ сестру найти?

Что-то словно защемило въ сердцѣ у Вѣрочки. Ей разомъ стало больно. Она даже поблѣднѣла, и кисть упала изъ рукъ ея, проведя безобразную черту по начатой картинѣ.

— Что вы, родная?..

— Такъ, ничего; недолго же вы погостили у насъ.

— Нельзя, слишкомъ важное и спѣшное дѣло.

Вѣрочка встала.

— Я сама проведу васъ... Мать Серафима вѣрно сидитъ подъ вязами...

Они вышли. Слезы наполнили глаза дѣвушки. Ей хотѣлось, чтобы онъ не замѣтилъ этого...

— Надолго вы уѣзжаете?

— Не знаю... Да вѣдь, собственно, дѣла у меня никакого нѣтъ здѣсь.

— Пожалуй, навсегда оставляете насъ?

И голосъ ея дрогнулъ.

Онъ внимательно посмотрѣлъ на нее.

— А вамъ развѣ жаль меня будетъ?—спросилъ онъ.

— Да, я привыкла. Вы такъ много сдѣлали теперь для меня. Мы вѣдь здѣсь привязчивыя...

— Вотъ что, Вѣрочка, — мало-ли что случается, —

возьмите мой петербургскій адресъ. Если вы когда-нибудь попадете въ положеніе, которое потребуетъ чьей-нибудь помощи или совѣта, не обращайтесь ни къ кому кромѣ меня. Слышите? Я сейчасъ же отзовусь, получивъ отъ васъ письмо или телеграмму...

— Благодарю васъ...—только и проговорила она, пожимая протянутую ей руку.

Мать Серафима оказалась дѣйствительно подъ вязами. Она было встревожилась отъѣздомъ брата, но тотъ скоро ее успокоилъ...

XIII.

Прошелъ годъ. Іюнь стоялъ жаркій, сухой. Ни капли дождя не упало на жаждавшую влаги землю. Трава горѣла; рѣчка, протекавшая за монастыремъ, едва сочилась. Въ обители готовились къ празднику, мастерская была пока закрыта, и Вѣрочка почти все время проводила съ бабушкой.

— Не узнаю я тебя,—говорила она старушкѣ.—Ты точно скрываешь что отъ меня.

Дѣйствительно, Анфиса Кирилловна спала съ лица совсѣмъ и точно потерянная ходила цѣлые дни.

— Такъ я это, — успокаивала она дѣвушку. — Сама знаешь, какіе мои года.

— Что года! И то бабушка Варлаама говоритъ,—что ты у меня совсѣмъ молодая старушка. Нѣтъ, ты что-то будто бы прячешь отъ меня.

И въ памяти Вѣрочки мелькнулъ намекъ матери Серафимы на какую-то бабушкину тайну, подслушанную ею въ окнѣ у себя въ комнатѣ.

— Глупости... Снится мнѣ все это время несуразное... Смерть моя близка, вотъ что!—вырвалось у той.

— Что же снится?

— Не къ добру. — И бабушка сѣла въ кресло. — Не къ добру, дитятко... Ужъ и ума не приложу, а не къ добру. Къ смерти моей, должно быть.—Видимо, ей самой

хотѣлось высказаться. Чувствовала, что легче будетъ.— Видишь ли ты, каждую ночь ко мнѣ дѣдушка твой приходитъ. Какъ засну—онъ и стоитъ надо мной, страшный, страшный...

— Ну, вотъ видишь... Отслужи панихиду—и перестанетъ приходить.

— Нельзя, нельзя по немъ панихиду-то служить.

— Отчего нельзя?—изумилась Вѣрочка.

— Потому что... нельзя. Что ужъ... Какія панихиды еще?

Вѣрочка ничего не понимала, пошла было къ себѣ, да уже въ дверяхъ разслышала, какъ бабушка сама съ собою заговорила:

— Какъ это о живыхъ панихиды служить?.. Почемъ я знаю,—коли бы умеръ, другое дѣло.

И дѣвушка призадумалась.

Она была круглою сиротою. Когда-то пріютила ее бабушка, которую и она, и всѣ считали вдовой. Чтобы значила нечаянная, услышанная ею фраза: «какъ это о живыхъ панихиды служить!..» Вернувшись, она попробовала приласкаться къ бабушкѣ — прежде это приводило старушку въ хорошее расположеніе духа, но теперь не подѣйствовало. До того растерялась Анфиса Кирилловна, что когда Устинья разбила ея любимую фарфоровую чашку, подарокъ и память покойной матери Секлетеи, такъ старушка только головой покачала:

— Все къ одному, все къ одному! — проговорила она.—Все къ тому же. За мной это—по мою душу!

— Чашка-то по душу?—старалась сама разсмѣяться и ее разсмѣшить Вѣрочка.

— Да вѣдь прежде не билась же?.. Теперь какъ разъ. Все къ одному, все къ одному, милая.

А тутъ еще и Маруська прибавила. Схвативъ за хвостъ невѣдомо гдѣ отысканнаго ею мертваго вороненка, она задомъ едва-едва вползла въ домъ и, пятясь, притащила его на самую середину комнаты, а притащивъ, сѣла надъ нимъ и давай умываться, точно и въ самомъ дѣлѣ совершила что-то путное.

*

— Ну, вотъ видишь!..

Окончательно обезкураженная старушка пошла подъ ворота къ Степанидѣ и все разсказала ей.

— Къ смерти это?

— Не къ смерти, а нехорошо, — глубокомысленно соображала та. — Нехорошо! Сказываешь, Секлетеина чашка-то?

— Секлетеина. Невдолгѣ передъ самою смертью-то и подарила мнѣ она.

— Ну, вотъ, поди ты, мать, и отслужи панафиду по ней-то, по Секлетеѣ... Душевная старица была — и тебя любила. Это никто, какъ она.

И панихиду отслужили, и, повидимому, успокоилась Анфиса Кирилловна, а внучка ея все на нее посматривала съ опаской.

— Не больна ты, бабушка?

— Нѣтъ.

— А ты бы къ доктору въ городъ послала.

— Ну, куда медику земному съ скорбью моею совладать. Одинъ у меня медикъ, — Царица Небесная, коли Она не поможетъ, что земные сдѣлать могутъ! Господь съ ними. Пущай другихъ ужъ надуваютъ средствіями своими неподобными.

Пришелъ и праздникъ.

Богомольцевъ сошлось въ монастырь видимо-невидимо. Таборами стали кругомъ. Слава Богу еще, если у нихъ телѣга была, — подъ телѣгою жили, а то такъ жгло солнце, что монахини, утѣшая ихъ, говорили:

— А вы думали какъ, легокъ, други, путь ко спасенію? Нѣтъ, братцы,—труденъ, охъ, труденъ! Это еще что, когда солнце жжетъ—горше тому, кого совѣсть-то жечь станетъ... Охъ, какъ тяжко тому, кто совѣсть ощутитъ!..

Особенно трудно пришлось женщинамъ и дѣтямъ. Въ обители отвели имъ и квасную, и хлѣбную,—а все мѣста не хватало. Пустили на кладбище бабъ — подъ вязы и липы—все тѣни больше, хоть какая ни на есть, а про-

хлада,—и цѣлые дни проводили тамъ бабы, красныя-красныя, распаренныя,—а за стѣнами обители оставалось еще больше. И такіе жары стали, что даже урядникъ обезпокоился и донесеніе послалъ становому: «какъ-бы не случилось чего съ народомъ отъ знойнаго расположенія». Еще лучше другихъ пришлось нищимъ. Тѣ, какъ заняли мѣста по обѣ стороны монастырскихъ воротъ, такъ и не уходили оттуда. У нихъ днемъ и вечеромъ тѣнь была—полуднями жгло малость, да все же сравнительно это еще благодатью оказывалось. Теперь Вѣрочка каждый разъ приходила въ обитель съ мѣдяками въ карманѣ. Не могла она равнодушно миновать всѣхъ этихъ хромыхъ, слѣпыхъ, всю эту искалѣченную братію, назойливо пѣвшую, глаголавшую и вопіявшую о хлѣбѣ насущномъ. И бабушка тоже одѣляла ихъ. Ближе другихъ ко вратамъ въ обитель отвоевалъ себѣ мѣсто такой здоровенный старикъ, что ему мѣсто было бы совсѣмъ не здѣсь, а гдѣ-нибудь на большой дорогѣ. Рожа красная, точно обожженная, сѣдая борода всклоченная, волоса тоже сѣрой шапкой торчатъ, воротъ лохмотной рубахи разстегнутъ, и оттуда потная красная грудь видна. Онъ порою зорко всматривался въ Вѣрочку и пробовалъ даже заговаривать съ ней, благодаря ее за милостыньку. Та поневолѣ отвѣчала ему. Не отвѣтить, по ея понятіямъ, значило бы оскорбить его и сдѣлать ему еще горше и безъ того горькую милостыню.

— Эй, умница... — остановилъ онъ ее разъ. — Какъ звать-то тебя, благодѣтельница? За кого молиться мнѣ?

— Вѣрой звать,—улыбнулась она.

— Ну, Господь съ тобой, пошли Онъ тебѣ царствіе небесное!—а изъ-подъ встопорщенныхъ бровей зорко и хитро смотрѣли его острые глаза.—Должно быть, недалеко живешь ты тутъ, все съ матерью ходишь?

— Недалеко, недалеко, старикъ...

И она бѣжала скорѣй прочь.

— Эхе-хе-хе... — еще зорче присматривался онъ къ ней.

Но когда она проходила съ бабушкой, нищій совсѣмъ не сводилъ глазъ отъ нихъ обѣихъ.

Разъ Вѣрочка шла мимо, онъ ее клюкой поманилъ къ себѣ. Та подошла.

— Ну, прости, всю мѣдь раздала, ничего не осталось.

— Господь съ тобою!.. Развѣ только это и надобно странному человѣку? Ты меня словомъ своимъ подари. Старушка эта матерью тебѣ приходится?

— Нѣтъ, бабушкой...

— И давно вы тутъ живете, милая?

— Давно, какъ себя помню.

— А гдѣ?

Но она посмотрѣла ему въ глаза, и чего-то страшно ей стало, слишкомъ ужъ жадно глядѣлъ онъ на нее, слишкомъ остеръ и лукавъ былъ его взглядъ.

— Не видать отсюда!.. — кинула она ему и прочь пошла.

— Не видать,—то-то, что не видать... Охъ-охъ! Ну что-жъ, и на томъ спасибо. Спаси тебя Господь Всемилостивый!

До того непріятенъ сдѣлался Вѣрочкѣ этотъ нищій, что она стала ходить въ обитель другими воротами.

Старикъ не успокоился. Онъ сумѣлъ подобраться къ Степанидѣ.

— Охъ, ужъ и обитель у васъ, матушка, не знаю, какъ ваше имя святое...

— Степанида.

— То-то. Видалъ я много обителей, что каменіи самоцвѣтные, какъ жаръ горятъ,—ну, а такой не случалось еще. Ахъ, не случалось! Адамантъ настоящій... И добродѣтели въ вашихъ старицахъ, матушка. Истинно умиляешься, какъ Господь васъ превознесъ и прославилъ... Ты думаешь, что сидимъ мы у воротъ,—а мы все видимъ и все слышимъ.

— А ты въ какихъ монастыряхъ-то еще бывалъ?

— Бывалъ я сударыня моя, матушка богоданная, на Соловецкихъ островахъ, что посередь моря студенаго

стоятъ, обитель великая, и честь ей межъ другими не малая. Бывалъ я и на Валаамѣ, сподобилъ меня Господь Герману угоднику Своему поклониться, и у Троицы-Сергія благолѣпіемъ чина небеснаго и красотою храмовъ подлинно ослѣпленъ былъ... И на Аѳонъ ходилъ въ турецкую сторону... А все лучше вашей обители нѣтъ.

— Сказываютъ, хороша, коли не лукавятъ.

— Чего лукавить—первая... Вижу я, матушка, бѣгаетъ въ монастырь къ вамъ, ежедневно почитай, дѣвица одна хорошая и милостыни творитъ, и сама какъ голубица кроткая. Кто она будетъ?

— Сирота одна... Съ бабушкой своей живетъ здѣсь.

— Видѣлъ, видѣлъ старушку съ ней. Почтенная старушка, Анфисой Кирилловной, кажись, зовутъ еще ее?

— Да, какъ же. Давно тутъ живетъ!..

— А по фамиліи ее Рѣпьевой величаютъ? Такъ... Мы за тѣхъ вѣдь, кто подаетъ намъ, особливо молимся. За всѣхъ вопче, а за благодѣтелей – въ отличку.

— Видалъ гдѣ ее?..—удивилась его любопытству привратница.—Раньше видалъ, что-ли?

— Нѣтъ, такъ народъ говорилъ. Хорошая старушка, благослови ее Богъ. Что же она замужемъ, что-ли?

— Вдовствуетъ.

— Ну, и Богъ съ нею... Вдовствуетъ... И домокъ у нея здѣсь свой?

— Какъ же. Зайди за ворота, да посмотри—крыша тесовая, а надъ ней клены, вонъ у стѣны недалечко.

— Ну, спасибо, спасибо тебѣ, мать Степанидушка. Будешь молиться, не забудь помянуть меня грѣшнаго.

— А поминать-то какъ?

— А просто, матушка, старца недостойнаго... Господь съ нимъ, съ именемъ. Это у дворяновъ, которые, имена есть, а намъ сирымъ, да гладнымъ, да хладнымъ и такъ отлично. И безъ имени живется... Какъ помремъ—Богъ-то и безъ имени разберетъ, кого куда... Прости, мать!..

— Господь проститъ!

Сѣлъ на свое мѣсто старикъ-нищій и задумался. Крѣпко

задумался. Даже богомольцевъ сталъ пропускать. Взглянетъ на домикъ Анфисы Кирилловны, вздохнетъ и опять задумается... Разъ только у него вырвалось:

— И при капиталѣ, должно быть.

— Кто?—переспросилъ у него сосѣдъ-калѣка.

— Такъ я... вопче... Грѣхи наши. Охо-хо-хо, паритъ-то какъ. А завтра я, слышь, Тимоѳей, не приду.

— Чего такъ?

— Довольно мнѣ возжаться съ вами. Можетъ, мы и сами изъ дворяновъ, ты какъ думаешь?.. На лошадяхъ отсюда поѣду... Вотъ что... Довольно!

— Кажись, водки тутъ не продаютъ, гдѣ это ты зѣнки-то свои налилъ?

— Молчи, дуракъ. А то такъ я клюкой тебя огрѣю. Не знаешь, съ кѣмъ говоришь, мужичище...

Тотъ только ротъ разинулъ на расходившагося нищаго.

XIV.

На другой день бабушка съ внучкой только что садились обѣдать, какъ въ прихожей раздался шумъ, и послышался чей-то грубый голосъ; повидимому, кто-то спорилъ съ Устиньей.

— Ступай, ступай! Куда идешь, пьяная твоя харя!— кричала та.—Иди подъ окно, къ кухнѣ, оттуда подамъ.

— Молчи, дура... Я не за милостыней!..

— Чего прешь? Здѣсь старая барыня!

— Ее-то мнѣ и надо!

Устинья было стала въ дверяхъ, но чья-то сильная рука оттолкнула ее прочь. Вѣрочка вскочила изъ-за стола, бабушка встала тоже. Двери распахнулись, и на порогѣ показалась громадная фигура стараго нищаго. Онъ опирался на клюку, весь въ лохмотьяхъ, рубаха его плохо защищала тѣло, да онъ, впрочемъ, и не нуждался въ этой защитѣ; сумка за плечами... Онъ тяжело перешагнулъ обутою въ лапти ногой черезъ порогъ.

— Здравствуйте!—угрюмо проговорилъ онъ, отъискалъ глазами образъ, снялъ шапку съ расклеившимся козыремъ и перекрестился.

— Миръ дому сему...

— Чего вамъ?—обратилась къ нему Вѣрочка. — Ступайте на кухню, тамъ васъ накормятъ...

Онъ даже не взглянулъ на нее. Взглядъ его былъ упорно прикованъ къ бабушкѣ. Та, стоя у стѣны, тоже не отводила отъ него своихъ глазъ, все болѣе и болѣе округлявшихся подъ впечатлѣніемъ невыразимаго ужаса...

— Что же... Аль гнать будете, какъ гнала хамка ваша... Въ кухню—либо подъ окно...

Та молчала.

Изъ передней смотрѣла сюда испуганная Устинья, подмигивая Вѣрочкѣ на окно. Въ случаѣ-де чего—крикните...

— Не узнаете, Анфиса Кирилловна?.. А вы посмотрите... Положимъ, двадцать три года время-то длинное... Кого не измѣнитъ, а вотъ я васъ узналъ... Сейчасъ узналъ... Слѣдовало бы встрѣтить, какъ слѣдуетъ. И блудному сыну, возвращающемуся съ раскаяніемъ, радуются, не токмо что... А хозяину и подавно...

И онъ пошелъ къ ней, все такъ же грузно и тяжело ступая лаптями.

Анфиса Кирилловна, не отводя отъ него глазъ, безсознательно, словно защищаясь, протянула руки впередъ и задрожала вся, такъ что голова ея вся заходила...

— Бабушка, бабушка, кто это?

— Скажи ей, что ли... Скажи... А то хошь я скажу? Мнѣ все равно—я дома, вѣдь...

Онъ вздохнулъ, снялъ съ себя суму, оглядѣлся, куда бы положить ее, но, очевидно, сообразилъ, что здѣсь ей не мѣсто.

— Эй, халда!—обернулся онъ въ переднюю.—Возьми-ка, сунь куда...

Устинья опѣшила и, растерянная, подхватила суму и понесла ее.

— И клюку въ уголъ поставь... Понадобится учить тебя.

Она приняла и клюку.

— Нельзя сказать, чтобы ласково встрѣчали послѣ разлуки. Ну, да ужъ Богъ съ вами. Лишь бы сладко да сытно кормили... Садись, Анфиса, что ли... Да что ты на меня, словно на звѣря лютаго, смотришь?

— Бабушка, бабушка, кто же это?

— Сонъ-то... сонъ-то... Вотъ онъ тутъ и есть,—бормотала та.

— Поди, панихиды по мнѣ служили, а я и не померъ. Еще попировать собираюсь. Изъ безвѣстнаго отсутствія вернулся... А вы, супруга моя любезная, вдовствовали все? Ишь, отъ сладкой-то жизни какъ разнесло васъ! Ну, да что же — Господь съ вами. А только кинули вы меня тогда, какъ бѣшеную псу, подъ заборомъ— да и ушли спасаться. Вы-то спаслись — а мнѣ каково эти двадцать три года было? Искалъ, искалъ я васъ— десять лѣтъ. Все вотъ на этихъ ногахъ. Ну, а теперь пора отдохнуть. Поговоримъ потомъ, какъ дѣла наши обладить, а теперь обѣдать давайте... Садись, что ли...— сурово обернулся онъ къ Вѣрочкѣ. — Отъ дочки, отъ Саши—родилась?—отрывисто спросилъ онъ у Анфисы Кирилловны.—Что ты въ молчальницы пошла, что ли?.. Да оно и спрашивать нечего—вся въ нее, въ покойницу... Безъ меня и родилась. Ну, иди къ дѣду-то—цѣлуй ему руку...

Вѣрочка двинулась было къ нему... Но тутъ Анфиса Кирилловна внезапно обрѣла даръ слова.

— Постой, постой... Поди, Вѣрочка, къ матери Варлаамѣ—тамъ и пообѣдай, а мы тутъ поговоримъ, безъ тебя.

— Что, аль дѣда не хочешь уважить?—обратился онъ прямо къ дѣвушкѣ.

— Не дѣдъ ты ей, а ворогъ лютый, злодѣй... Считала я тебя мертвымъ и радовалась, анъ за грѣхи-то Господь и покаралъ.

— Это ты правильно. Господь за грѣхи всегда ка раетъ.

— Зачѣмъ съ того свѣта проявился?.. Ступай, ступай прочь. Какъ оставилъ, такъ и иди. Нѣтъ тутъ твоего ничего...

— Анфиса! Аль забыла?—приподнялся онъ.

— Бабушка!—бросилась къ ней дѣвушка, вся блѣдная.

— Не бойся, милая... Молодую меня онъ тиранилъ, точно, а теперь и у меня на него управа найдется... Устинья, урядникъ-то здѣсь вѣдь на площади?

— На площади, матушка, на площади.

— Ну, такъ помни, Алексѣй. Вѣдь я вѣдаю, куда тебя убрали тогда. Чуть ты что — сейчасъ тебя сдамъ. И будь покоенъ, никакой у меня къ тебѣ жалости нѣтъ. Вся, какая и была — выболѣла... И не боюсь я теперь даже нисколечко.

— Ишь какая безстрашная стала!—ворчалъ старикъ-нищій, почесываясь за пазухой.—Тебѣ ничего въ хороминахъ этихъ, а меня всякая тля поѣдомъ ѣстъ, живого мѣста нѣтъ...

— Вѣра, ступай къ матери Варлаамѣ!—уже строго обратилась къ ней бабушка.

— Какъ же я тебя одну оставлю?

— За меня не бойся.

Она не узнавала своей старушки. Теперь все лицо ея горѣло негодованіемъ, а добрые глаза грозно смотрѣли на нищаго. «За меня не бойся,—повторила она,—не мнѣ его страшиться. Вечеромъ приходи».

— Что-жъ дѣда и привѣтить нельзя?

— Какой ты ей дѣдъ! Скажите, родной выискался. Ты, по острогамъ шляючись, вспомнилъ ли когда объ насъ? Дѣдъ!.. Иди, иди, дѣточка, иди!

Анфиса Кирилловна благословила ее и вывела за двери. Посмотрѣла ей вслѣдъ и, убѣдясь, что та уже около воротъ обители, вернулась назадъ, гдѣ, сидя за столомъ, мужъ ея, такъ нежданно вернувшійся, тяжело сопѣлъ, оглядывая все по сторонамъ.

— Ну, зачѣмъ пожаловалъ?

— Извѣстно, домой пришелъ.

— Домой!.. А гдѣ у тебя домъ-то?

— Здѣсь. Гдѣ жена—тамъ и домъ.

— Поздно вспомнилъ...

— Поѣсть-то вы дадите страннему человѣку?—стукнулъ онъ тяжелымъ кулакомъ о столъ.—Дьяволы! Поѣсть-то будетъ чего?

— Ладно... не шуми. Не кабакъ тебѣ здѣсь... Не острогъ.

При словѣ острогъ—нищій опять присмирѣлъ.

— Хорошо это тоже острогомъ корить... Господь грѣшника прощаетъ, а ты строже Бога хочешь быть?

— Прощаетъ точно и радуется ему... только кающемуся.

— А, можетъ, я и каялся.

— Кабы каялся, такъ бы ты сюда силкомъ не лѣзъ—звѣрь звѣремъ. Покаяніе тоже.. Устинья, давай тамъ, что есть у тебя.

А сама Анфиса Кирилловна отошла въ уголъ, сѣла тамъ въ кресло и стала смотрѣть на него.

— А ты не будешь?

— Нѣтъ.

— Со мной брезгуешь?—усмѣхнулся онъ.—Ну, что же, мнѣ больше останется. Водки!

— Нѣтъ тебѣ водки. Тутъ честный домъ—водки не держатъ.

— Спосылай.

— Некого.

— А Устинья на что?

— Что же, мнѣ съ тобой одной остаться? Не знаю, какъ ты за горло умѣешь хватать?

— Не забыла?—усмѣхнулся нищій.

— Какъ забыть—помню. Много благодарна.

— То-то... А то я бы напомнилъ. И сладкой водки нѣтъ?

— Сказано тебя—не кабакъ здѣсь.

— Старухи сладкую водку завсегда пьютъ. Я бы и сладкой выпилъ.

— Обойдешься.

— Ироды!..

И старикъ съ жадностью навалился на щи. Онъ съ какой-то собачьею жадностью и быстротой глоталъ ихъ, обливался ими и уже не глядѣлъ на Анфису Кирилловну. Противно было слушать, какъ онъ чавкалъ и сопѣлъ при этомъ, точно у него каждое мгновеніе хотѣли отнять лакомое блюдо.

Старуха смотрѣла-смотрѣла на него, и, мало-по-малу, въ сердце ея закрадывалась жалость. Она даже слезинку сморгнула. Такой ли онъ былъ прежде? Она помнила его красивымъ и ловкимъ офицеромъ. Давно это было—такъ давно, словно когда-то во снѣ она видѣла, а не на яву бѣжала съ нимъ изъ родительскаго дома. Нѣсколько дней счастья — а тамъ пошли кутежи, побои, игра... А потомъ что было—страшно подумать... Суды да тюрьмы... Вспомнила она, какъ водили его въ арестантскомъ халатѣ подъ ея окнами... Отсидѣлъ—выпустили; пожалѣла—приняла. А онъ еще и того хуже... И пошла опять мука мученская... пока не услали. А тамъ и она уѣхала и въ первый разъ во все время замужества покой и тихое счастье узнала... А все жаль и какъ жаль-то!.. Сердце щемитъ. И вѣдь есть еще въ чертахъ что-то прежнее... Покажется и опять спрячется. Какая-то мысль мелькнула у нея въ головѣ. Она встала и пошла къ себѣ въ комнату. Порылась въ комодѣ и вынула въ бархатномъ футлярѣ старый дагеротипъ. Фотографій тогда еще не существовало—въ тѣ далекія времена. Скорбная и смягчившаяся, она вернулась опять и сѣла въ кресло... Мужъ ея немного насытился и сталъ ѣсть медленнѣе.

— Что еще?—грубо спросилъ онъ, поднимая на нее воспаленный взглядъ. Это потное, жадное лицо было въ полномъ смыслѣ слова ужасно.

— Узнаешь?..—и она показала портретъ издали.

— Чего такого? — недоумѣвалъ нищій. — Давай-

кось сюда. Небось, не возьму. Мнѣ эта штука не къ чему.

— Устинья, подай ему.

— Сама гнушаешься? Ну, гнушайся... Что же, обижай: коли Богъ обидѣлъ, такъ люди и подавно должны.

— Посмотри хорошенько.

Старикъ-нищій взглянулъ, но солнечные лучи такъ падали на дагеротипъ, что онъ ничего не видѣлъ. Онъ повернулся иначе.

— Ну, узналъ, что ли?..

Бродягу точно ударило что-то. Онъ зажмурился даже въ первую минуту и опять открылъ глаза... Всмотрѣлся пристально, впился своимъ острымъ взглядомъ въ молодого и красиваго офицера, такъ и рисовавшагося ему въ потускнѣвшихъ тонахъ и тѣняхъ портрета. Что-то пробѣжало по лицу его. Заслонился дагеротипомъ отъ хозяйки, чтобы та его не видѣла. А рука дрожитъ, такъ и ходитъ ходуномъ, и видитъ это Анфиса Кирилловна— и сладко, и больно дѣлается на душѣ. Повернулся старикъ къ зеркалу, что висѣло на стѣнѣ, посмотрѣлъ на себя; еще разъ воззрился на портретъ, и вдругъ портретъ покатился на полъ, а самъ онъ опрокинулся на столъ и, схвативъ грубыми, черствыми цѣпкими пальцами свои всклоченныя сѣдины, зарыдалъ, весь вздрагивая и шатая стулъ, на которомъ сидѣлъ, столъ и тарелки.

Анфиса Кирилловна, вся просвѣтленная, встала, подошла къ образу, перекрестилась и безмолвно положила передъ Спасителемъ земной поклонъ.

XV.

Вѣрочка вернулась уже съ вечерни. Сердце ея билось до боли, когда она переступала порогъ ихъ еще сегодня утромъ такого мирнаго домика: «что-то теперь тамъ?»

— Ну, что?—устало спросила бабушка.

— Отецъ Серапіонъ боленъ. За него служилъ Захарія. Очень ужъ скоро онъ гонитъ. Бабушки недовольны.

И она вопросительно посмотрѣла на старушку. Та поняла и показала наверхъ.

— Тамъ?..

— Да.

— Спитъ?

И она разслышала храпѣніе надъ собою.

— Я его пока въ мезонинъ помѣстила. А потомъ не знаю... Что Богъ дастъ, то и будетъ.

— Останется онъ съ нами?

Анфиса Кирилловна промолчала, задумалась.

— Плакалъ сегодня... Не знаю, что потомъ, а пока ничего... Плакалъ, каялся...

— Прости его, бабушка!

— Эхъ, Вѣрочка, не знаешь ты... Вотъ погоди, сама увидишь, можетъ быть... Что ужъ... Всего не разскажешь. Да и говорить грѣхъ. Точно я тебѣ на него жаловаться стану.

— Матушка,—взошла Устинья,—какъ съ нимъ-то быть мнѣ—на ночь?

— А что?

— Опасно. Не случилось бы бѣды. Я его снаружи запру, а къ намъ позову спать. Акимку-могильщика. Чего-чего, онъ совладаетъ, онъ сильный.

— Не надо!—всполошилась Вѣрочка.

— Постой,—строго остановила ее бабушка.—Ты, вѣдь, его не знаешь, какой онъ. Дѣйствительно, слезы его смутили меня. Не бывало этого съ нимъ прежде. Ну, а вдругъ... За себя-то я не боюсь. Мнѣ скоро и безъ этого придется предстать передъ Нимъ,—подняла она глаза на икону. — А тебѣ вѣдь жить еще... Въ самомъ дѣлѣ, Устинья, это ты хорошо надумала, позови Акима, пусть ляжетъ наверху въ передней комнаткѣ. А въ той дверь замкни на всякій случай. Если постучится, отомкнетъ Акимъ. Поставь ему туда воды, мяса, хлѣба, коли ѣсть захочетъ—пусть ѣстъ. Спички...

— Охъ, матушка, спички—что вы! Спалитъ онъ насъ.

— Не спалитъ. Съ чего ему палить-то...

Всю ночь надъ собою слушала Вѣрочка, не смыкавшая глазъ, сначала храпѣніе старика-дѣда, потомъ тяжелые шаги его: подъ ними гнулись половицы. Наконецъ, къ утру старикъ успокоился, и дѣвушка заснула. Когда она встала—было уже поздно. Окно ея оказалась отворено, солнце свѣтило въ комнату, пѣли громко птицы въ кустѣ сирени, и Маруська возилась на полу съ катушкой отъ нитокъ. Вѣрочка встала, одѣлась и вышла. Бабушку она застала серьезную, сидѣвшею задумчиво въ креслѣ.

— Ну, что, бабушка?

— Все слава Богу.

— А онъ? (Она еще не хотѣла называть его дѣдомъ. Это слово не навертывалось ей на языкъ).

— Въ городъ я его съ' Акимкой услала.

— Совсѣмъ?

— Нѣтъ. Пусть одѣнется. Купитъ себѣ платья какого да бѣлья и въ банѣ вымоется. И такъ всю постель выколотить пришлось. Грязи на немъ за двадцать лѣтъ-то сколько накопилось. Ты меня прости, дитятко!

— За что это?

— А ужъ такъ. Что потомъ будетъ—не знаю. А пока должна я его здѣсь пріютить.

— Напротивъ, я рада, бабушка.

Вечеромъ пріѣхалъ изъ города дѣдъ. Онъ былъ одѣтъ въ широкомъ и мѣшкомъ сидѣвшемъ на немъ сюртукѣ и въ чистомъ бѣльѣ. Вымытое лицо лоснилось. Глаза старались глядѣть ласково, но не долго выдерживали и загорались недобрымъ грознымъ огонькомъ.

— Здравствуй!—неловко проговорилъ онъ, обращаясь къ Вѣрочкѣ.

Дѣвушка серьезно подошла къ нему, взяла его за руку, потянулась къ нему на носкахъ и поцѣловала въ щеку. Старикъ сначала отвернулся, а потомъ положилъ ей руку на голову.

— Добрая... И та... Старуха-то моя добрая... Обѣ добрыя!

А Анфиса Кирилловна въ это время, отведя въ сторону Акима, исповѣдывала его.

— Ну, что, какъ, Акимушка?

— Ничего, все слава Богу.

— Не бѣдовалъ онъ?.. Нѣтъ? И хорошо, а вотъ что: водки не просилъ? Мой-то—водки, а? Только ты правду!

— Просилъ только малость: пришли мы къ Епифанову въ кабакъ, они спросили себѣ сначала одинъ, а потомъ другой стаканчикъ. Я тоже значитъ. А потомъ они сказали: «буде, довольно» и пошли благородно, какъ слѣдуетъ быть. Нищаго нашего одного встрѣтили, Трифона. Приказали ему полтину дать, я далъ. А то ничего, все въ порядкѣ. Полиція тутъ ко мнѣ пристала. «Какого ты это, спрашиваетъ, старичка ведешь?» Я имъ и говорю: «божьяго». Нашъ, говорю, «монастырскій старичокъ», ну, отлипли.

Такимъ образомъ дѣдушка поселился въ домикѣ у Анфисы Кирилловны. Онъ былъ все время угрюмъ и молчаливъ. Зорко смотрѣла за нимъ бабушка—и какъ ни старалась Вѣрочка быть попрежнему веселою, но чувствовала, что ей это не удается, что какая-то туча нашла на все и заслонила надолго ихъ беззаботное, тихое счастье.

XVI.

Дѣдушка сверху сходилъ только обѣдать и ужинать, сидѣлъ молча и тяжело вздыхалъ. Когда Анфиса Кирилловна пробовала съ нимъ заговаривать—онъ или ничего не отвѣчалъ ей, или, пристально глядя на нее, неизмѣнно спрашивалъ старушку:

— Вѣдь, все равно, милости отъ тебя не будетъ. Чего же нудишь-то?

— Что ужъ...—терялась старушка.— Я ужъ и не понимаю.

— А и понять не трудно. Сосетъ!

— Водки и не проси!—вооружалась всею твердостью Анфиса Кирилловна.—У насъ ея, проклятой, и въ заводѣ нѣтъ И не томи ты меня.

— Слѣдовательно, и сама молчи.

Ходили къ нему наверхъ только Устинья и Акимъ. Съ ними онъ разговаривалъ подолгу, случалось.

— Ну, что, дѣдушка?—спросила какъ-то разъ у первой Вѣрочка.

— Жалятся, ахъ, какъ жалятся!—подперла та ладонью щеку и завздыхала.—Такъ жалятся, такъ жалятся просто саму слезой прошибаетъ.

— У нихъ,—и она таинственно наклонилась къ дѣвушкѣ,—у нихъ въ этомъ вотъ самомъ мѣстѣ, милая ты моя,—показала она подъ ложечкой,—такой піаный червь сидитъ, и сидитъ, красавица ты моя, ужъ не мало, охъ, ужъ не мало годовъ. И какъ только утро, онъ и начинаетъ его, старика-то вашего, піавить. Сосетъ, сосетъ, ни ему вздоху вольнаго, ни веселья настоящаго. «Залей, требоваетъ, залей»... Чумѣетъ старичокъ-то отъ бабушкиной строгости, чумѣетъ. «Устиньюшка, говоритъ, сколько я годовъ на свѣтѣ прожилъ, въ сколькихъ, можетъ, странахъ, народахъ и острогахъ побывалъ, а никто покуда надо мною такого тиранства не дѣлалъ. Охъ, никто, милая ты моя». Ужъ я плакала, плакала, слушаючи его. «Купи ты мнѣ, говоритъ, родная, водочки, вотъ эстолько... Спаси душу мою».

— Что же, купила?

— Что ты, что ты!—замахала на нее руками Устинья.—Стану я такими дѣлами заниматься. Я не потатчица, слава Господу... Поплакала я съ нимъ точно, а водки ему не покупала, ну, онъ и озлился. «И ты, сказываетъ, такая же тигра лютая, какъ и госпожа твоя, всѣ вы здѣсь въ образѣ звѣриномъ ходите, только, вотъ, однихъ роговъ вамъ не дадено, а то совсѣмъ вы черти треклятые...» Хорошо онъ это говоритъ, совсѣмъ по духовному!

Какъ-то сидѣла у себя подъ окномъ дѣвушка, читала что-то, видитъ, шмыгъ мимо хромой нищій. Увидалъ ее, почесался.

— Иди на кухню, тамъ подаютъ!

— Я не за тѣмъ, родная... Пріятель у меня тутъ...

— Какой пріятель?

— Закадыка... Вмѣстѣ мы съ нимъ дѣла-то дѣлали. Сказываютъ: заточили вы его... Повидать бы...

Окно дѣдушки изъ мезонина выходило какъ разъ надъ окномъ Вѣрочки. Блуждавшій изъ угла въ уголъ старикъ какъ разъ показался въ это время и былъ тотчасъ же замѣченъ нищимъ.

— Алеша, ахъ, волкъ те заклюй, ты!

Старикъ отошелъ было отъ окна, потомъ вернулся.

— Чего тебѣ, Тимошка?

— Ахъ ты, ежова голова... А сказывали, въ тиранствѣ ты, пропадомъ пропадаешь. Ишь у тебя кафтанъ-то какой! Ступай внизъ скорѣича. .

И Тимошка показалъ ему на посудину съ водкой.

Вверху и потомъ на лѣстницѣ послышались торопливые шаги, и скоро въ садикѣ появился дѣдушка, опасливо поглядывая на окна. Не замѣтили бы!..

— Огыскалъ-таки меня...—ласково говорилъ дѣдушка старику-нищему.

— Во! Мы не отыщемъ? Мы пріятеля завсегда могемъ на днѣ найти... Отъ насъ, братъ, и въ омутѣ не спрячешься, нѣтъ. Мы для друга въ ниточку.

— А ты ужъ пьянъ, Тимошка?—съ завистью проговорилъ тотъ.

— Живъ Богъ, жива душа моя... А я пьянъ точно... Сказывали мнѣ, заточенъ ты, а вижу, что врали.

— Точно что я нынѣ на благородномъ положеніи. Давай скорѣе, поднеси, что ли...

Тимошка изъ подъ полы подалъ ему посудину. Вѣрочка слышала, какъ забулькала водка.

— Ну!.. Первый ты благодѣтель таперича, Тимоша. Оживилъ ты меня—надо правду сказать, я ужъ помирать

*

собирался. Ну, теперь нѣтъ, теперь поборемся. Теперь мы посмотримъ...—и онъ злобно оглянулся на домикъ,—Ахъ, вы—шкуры!..

— Кого ты это... Старушку свою?.. Блаженную?..

— Блаженную... Вѣдьма она—вотъ что!

— Алексѣй!—съ укоризною остановилъ его Тимошка.—Смотри-ко, какой она тебѣ кафтанъ отъ щедротъ своихъ возвела. Примѣчательный весьма кафтанчикъ-то! Поди, на постелѣ настоящей спишь? Ахъ, ты капидонъ немилостивый!—И онъ ткнулъ локтемъ въ бокъ.

— Пойми ты... Вторую недѣлю ни вотъ эстолько.

— Точно что...—удивлялся Тимошка. — Притѣсненіе. Эх это не хвалю!

— Билъ я ее прежде, смертнымъ боемъ, понимаешь? Ну а теперь чинно, благородно, пальцемъ не ткнулъ. Вчера, прошу—хамка тутъ въ услуженіи—ты незамѣтно, говорю, въ родѣ какъ для образа масло, въ лампадочку накапай мнѣ. Зашипѣла и прочь пошла... Давай-ко еще... Плесни-ко... На каменку.

— На каменку... Ха! Съ водки-то веселъ ты, Алексѣй!.. Теперь, ваше благородіе, ты вотъ какой. А мы хоша и мужики, а водкой благородныхъ поимъ, допущаемъ тоись благороднаго къ водкѣ... Намъ что, другъ, намъ все одно, потому тоже и у благороднаго душа.

— Ужъ такъ ты меня этимъ ободрилъ. Теперь я опять человѣкъ, духъ въ себѣ чувствую... Ужли все?—удивился онъ.

— Вся, друже. По пути-то сюда я, признательно сказать, самъ раза три глотнулъ. Слабость моя, невозможно. Но только я Бога помню!

— Давай, принесу. Я Бога, братъ, забыть никогда не согласенъ. Вотъ Онъ-то, сидимъ мы съ тобой подъ кусточкомъ, а Онъ видитъ. Вотъ Онъ вишь...—ткнулъ онъ перстомъ въ небо.—Видитъ, сидятъ православные и благородно вкушаютъ... А Онъ на насъ радуется, потому мы безъ грѣха значитъ, безъ бунту, а какъ бы съ молитвой даже... Кому мы вредъ приносимъ?

— Денегъ у меня нѣтъ. А я сейчасъ...

Дѣдушка вихремъ сорвался, сбилъ съ ногъ Устинью, хлопотавшую у крыльца, вбѣжалъ въ гостинную, замѣнявшую въ тоже время и столовую, загремѣлъ тамъ въ буфетѣ и такъ же выскочилъ вонъ.

— Бери... Скорѣича. Да смотри, дьяволъ! Чего кажешь-то, спрячь! Живо у меня чтобы водки!

— Ужли серебрянныя?

— Серебро... У насъ серебро, братъ, будь спокоенъ. На всѣ, слышишь. На всѣ, сколько дадутъ подъ залогъ... Чтобы и въ запасѣ осталось. Но только, Тимошка, ты у меня смотри. Ежели сбѣжишь—не жить тебѣ.

— Алексѣй!.. Капидонъ! Ужли же да мы...—слезливо запѣлъ тотъ. — Кажется, доказали, сколько мы себя любимъ... Ахъ, родители вы наши... Безпремѣнно жди.

— На эфтомъ самомъ мѣстѣ!

Дѣдушка прошелся по саду, увидѣлъ Вѣрочку въ окнѣ и насупился.

— Ты чего—слѣдишь? Слѣди, слѣди. Жалуйся, поди, на дѣдушку-то, жалуйся. Ну, да будетъ, будетъ меня тиранить, пойди, скажи ей—пусть она сунется, я ее, вѣдьму, увстрѣчу.—И онъ сжалъ громадный кулакъ.—Я ей докажу правду... Всѣ вы тутъ съ ума сбились. Я васъ выучу, выучу. Ха, вы думали, ослабѣлъ старикъ? Я вамъ покажу, въ струну у меня тянись, слышишь?

Вѣрочка широко открытыми глазами смотрѣла на него ничего не понимая.

— Чего пучишься? Прежде ее полѣномъ билъ, а теперь вотъ хоть скамьей этой.

И, схвативъ скамью, онъ съ страшной силой выворотилъ ее изъ земли и швырнулъ прочь. Дѣвушка съ крикомъ отскочила отъ окна.

— Что, шкуры, чувствуете таперича, кто здѣсь хозяинъ надъ вами будетъ... Я вамъ...

И глаза у него обезумѣли и остеклѣли, лицо побагровѣло.

Поздно вернулась домой Анфиса Кирилловна. Устинья встрѣтила ее на крыльцѣ.

— Ахъ, матушка, бѣда у насъ въ домѣ.

У той и колѣни подкосило. Сѣла она на ступеньку и часто задышала. «Воды, воды дай». Подала ей Устинья напиться.

— Ну, говори теперь. Чего еще Господь послалъ, какое горе?

— Ложки столовыя три изъ буфета пропали.

— Фу, ты!.. Я думала нивѣсть что... Окаянная ты, такъ сказала, словно съ Вѣрочкой что случилось.

— Нѣтъ, Вѣрочка у себя, замкнувшись.

— Какъ замкнувшись, съ чего это?

— Да дѣдушка бунтуютъ, пьяные они. Я уже и за Акимкой послала, у меня въ куфнѣ Акимка сидитъ...

— Господи!.. Гдѣ же онъ водки-то досталъ? Самъ бѣгалъ съ ложками-то?

— Нѣтъ, нищій тутъ у нихъ былъ одинъ, изъ ихнихъ пріятелей...

Качая головою, Анфиса Кирилловна вошла въ горницы... На диванѣ, развалясь, сидѣлъ ея мужъ, разутый и страшный какъ никогда. Посмотрѣла она на него и руками всплеснула.

— Не ндравится вамъ? Вы дамы—вамъ и не ндравится. Ну, ничего, привыкнете.

На столѣ былъ графинъ съ водкою и стаканъ.

— Видишь, мы тоже по благородному изъ графина пьемъ... А вы такъ, мадамъ, полагали, что совсѣмъ старика покорили? Нѣтъ.—И онъ ударилъ по столу.—На песье положеніе, въ мезонинъ! Ты вѣдь жена мнѣ, подлая душа твоя, понимаешь ты это? Жена да боится мужа, и Богъ велѣлъ. Ну, да теперь у меня съ тобой, съ ехидой, другой разговоръ будетъ. Зови внучку-то. Пусть она посмотритъ, какъ я величаться надъ тобой стану.

— Ты у меня Вѣру не тронь.

— Слышь, зови!—И у него глаза налились кровью. Разорву...

— Ну, ну... Молчи... Поди къ себѣ наверхъ.

— Наверхъ?.. Врешь... Сама ступай наверхъ. Тамъ у меня теперь Тимошка живетъ. А я здѣсь. Я тебѣ дамъ наверхъ!

И вдругъ, поднявшись, онъ сгребъ было ее лапищей за чепчикъ и за волосы. Анфиса Кирилловна взвизгнула и покатилась, да, къ счастію, Акимка оказался у нея за спиной.

— Баринъ, оставь!

— Вотъ и тебѣ!

И старикъ закатилъ ему здоровую пощечину.

— А, ты вотъ какъ! — удивился Акимка и бросился на него.

Оба свалились на полъ.

— Ты вотъ какъ!

— Душатъ, убиваютъ, карраулъ! — кричалъ дѣдушка.

— Кто тебя убивать станетъ! Устинья, веревокъ...

Акимъ съ своей воловьей силой живо подмялъ подъ себя старика и крѣпко-накрѣпко связалъ его.

Вѣрочка, ни жива, ни мертва, сидѣла у себя въ комнаткѣ. Съ минуту продолжалось молчаніе. Видимо, пьяный старикъ оглушенъ былъ всѣмъ этимъ. Потомъ очнулся и сталъ орать.

— Караулъ, бьютъ, рѣжутъ, караулъ!.. Тимошка!..

Суматоха поднялась повсюду... Изъ монастыря, куда донеслись эти крики, выбѣжали монахини, простоволосыя, испуганныя и блѣдныя. Вѣрочка въ окно выскочила, бабушка дрожала на крыльцѣ. Наконецъ, вдали показалась мать Варлаама, вся помертвѣвшая отъ ужаса. Ее вели подъ руки. Голова игуменьи болталась во всѣ стороны. Видимо, потрясло совсѣмъ бѣдную.

— Что тутъ, что тутъ?..

— Караулъ!.. Убиваютъ... Караулъ! — неслось въ открытыя окна домика. — Караулъ, ратуйте, кто въ Бога вѣруетъ...

— Горе-то мое, — плакала Анфиса Кирилловна. — Злодѣй мой напился. Такой же нищій ему водки принесъ... Вотъ и вышло все...

— Вотъ что, матушка — пожалуйте съ внучкой къ намъ въ обитель, а до утра съ нимъ Акимка останется здѣсь,—пригласила ее Серафима.

На другой день старикъ утромъ сидѣлъ на диванѣ развязанный и угрюмый. Тимошка былъ запертъ наверху... Акимка не далъ имъ опохмѣлиться; посему чувствовали они себя покорными, слабыми и разбитыми. Суровая вошла Анфиса Кирилловна. Старикъ вскинулъ на нее глаза и опустилъ ихъ.

— Н-ну, какое теперь твое рѣшеніе будетъ?

— Видно, повадился кувшинъ по воду ходить... Что ты вчера надѣлалъ? Всю обитель Божью обезпокоилъ. Да еще пріятеля привелъ къ себѣ такого же какъ и самъ.

— У меня мои—у тебя твои...—бормоталъ старикъ.

— Что же мнѣ теперь съ тобою, опять запереть наверхъ и Акимку къ тебѣ приставить? Такъ еще не острогъ у меня, да и обители святой въ поношеніе это! Ты къ острогамъ привыкъ,— не удержалась она.— Къ замкамъ да къ рѣшеткамъ...

— Вѣдьма!..— сорвалось у него.

Анфиса Кириловна встала и низко ему поклонилась.

— Спасибо, что другого имени для меня тверезый не нашелъ за все, что я терпѣла. Ну, да теперь все равно. Вотъ тебѣ рѣшеніе мое. Вчера мать Варлаама совѣтовала мнѣ послать за урядникомъ и сдать тебя. Пущай власти дѣлаютъ съ тобой, что слѣдуетъ по закону. Вѣдь я знаю, бѣглый ты,—ну, да не мнѣ судить тебя и не мнѣ доказывать. А вотъ—дамъ я тебѣ денегъ на дорогу и ступай на всѣ четыре стороны. Свѣтъ великъ, разойтись можно. И забудь ты про меня, какъ я про тебя забыла. Забудь, слышишь, совсѣмъ забудь — и никогда у тебя жены не было! Прошу у тебя такой милости, низко прошу.

И, вставъ, она поклонилась ему въ ноги.

— Ну, тебя... Не уйду я...

— Не уйдешь... Ну, тогда по благословенію игуменіи значитъ, отправлю тебя, куда слѣдуетъ. Пущай же тебя закону сулятъ.

— Сколько денегъ-то дашь мнѣ?

— Сколько дамъ—столько и дамъ.

— Знаю щедрость твою, какже!.. Мнѣ бы на годъ хватило—я бы оправился... ста три дашь?..

Она качала головой глядя на него. По лицу ея текли крупныя слезы.

— Куда же ты пойдешь?

— Не твоего это ума дѣло. Можетъ, я самъ въ дальній монастырь какой въ работники... гдѣ пить нельзя... Въ Соловки, что ли, или на Валаамъ. Думаешь, легко мнѣ—я, пожалуй, самому себѣ противенъ какъ, а не могу. Слабость моя гнететъ меня. Будь онъ проклятъ тотъ, кто и водку эту выдумалъ.

Когда вернулась Вѣрочка, дѣдушки ужъ не было.

Наверху Устинья мыла мезонинъ.

— Грязи-то, грязи!—шипѣла она.

— Куда онъ ушелъ?—спрашивала дѣвушка.

— Съ пріятелемъ своимъ съ Тимошкой нищимъ туда вонъ!—показала она на дорогу къ городу.—Денегъ ему бабушка дала, много дала. Потомъ они оба встали, подъ образомъ помолились и распрощались. Тимошка-то потомъ догналъ его... Охъ, не къ добру!.. Тимошка то слышалъ, что деньги у него есть.

Тишина опять кругомъ. Вѣрочка прошла въ спальню къ Анфисѣ Кирилловнѣ. Та лежала.

— Что съ тобой, бабушка?

— Сонъ-то, сонъ-то какой... Смерть это. Скоро-скоро распрощаемся мы съ тобой, Вѣрочка... чувствую я, не подняться мнѣ.

XVII.

И дѣйствительно, не къ добру вышло...

Дня черезъ два послѣ того шла Вѣрочка изъ монастыря. Мать Серафима получила письмо отъ брата, въ которомъ тотъ еще разъ просилъ подтвердить молодой художницѣ, что если вздумаетъ она ѣхать въ Петербургъ

учиться, пусть напишетъ ему. Онъ встрѣтитъ ее и устроитъ на новомъ мѣстѣ. «А то ваша бѣлокурая дикарка окажется здѣсь, какъ въ лѣсу». Въ воротахъ только что заговорила она со Степанидой, какъ издали увидѣла на всѣхъ парахъ несущуюся къ ней Устинью.

— Ахти, дѣвушка, сказывала я тогда... Ой, матушка, страховитое-то время какое, не ждамши, не гадамши...

— Что случилось?—такъ и всполохнулась Вѣра.

— Бабушка сейчасъ поѣхала... Туда, у рѣчки, гдѣ въ логу орѣшникъ еще... Дѣдушку тамъ нашли. Акимушка повезъ ее туда.

Вѣрочка, не прощаясь съ изумленной и испуганной бабушкой Степанидой, побѣжала къ указанному мѣсту.

Дорога огибала монастырскую стѣну. Снизу — башни обители казались еще громаднѣе. Вотъ окна мастерской; Алена и Ирина замѣтили дѣвушку и машутъ ей платочками. Не знаютъ, что тутъ горе случилось великое. Мать Серафима изъ-за нихъ смотритъ, — недоумѣваетъ вѣрно, куда это такъ стремительно, чуть дыша, несется ея любимица? Наткнулась на камешекъ, чуть не покатилась внизъ по крутому скату, хорошо, что еще старая ольха удержала... Расшиблась о нее немного. Устинья уже впереди далеко, только между деревьями красное платье ея полошится и раздувается, какъ парусъ подъ вѣтромъ. «Сонъ въ руку», и Вѣра на бѣгу, чуть живая, мимоходомъ вспоминаетъ, какою больною, измученною все это время казалась ей бабушка. Какъ это еще на нее подѣйствуетъ? И что случилось такое? Больного дѣдушку нашли, ограбленнаго?.. Или его уже и въ живыхъ нѣтъ?..

— Сказывала я про Тимошку, про нищаго!—кричитъ ей тоже на бѣгу, оборачиваясь, Устинья.—Его это дѣло, кому другому...

Должно быть, что-нибудь страшное, безвозвратное. Только бы бабушку въ конецъ не подкосило!.. Вонъ между деревьями и рѣчка блеснула... Точно темная сталь въ тѣни. Блеснула и опять спряталась. Омутистая рѣчка, холодная, какъ ниточка сочится, а то вспыжится и грудью яро

бѣжитъ по лугамъ да низинамъ. Около просо замерещилось, тамъ и орѣшникъ. Оттуда сюда и гулъ доносится... Поневолѣ остановилась дѣвушка. Голову кружило, грудь такъ и подымало отъ натуги, что, казалось, вотъ-вотъ треснутъ ребра и покажутся сквозь разорванное ими тѣло. Она схватилась руками за сердце. Захолонуло даже. Земля качается подъ ногами. Незамѣтно опустилась на траву... Минуту-другую отсидѣлась и встала. Чей-то плачъ внизу, да какъ отчаянно. Неужели это бабушка, что съ ней такое? Плачъ прерывается криками... Смолкнетъ все и опять, точно вѣтромъ наноситъ.

— Вѣрочка, дѣтка моя! — завидѣла ее старушка издали.—Одна ты у меня...

Замерла у нея на шеѣ. Толпа кругомъ разступилась. Двѣ бѣлицы изъ монастыря, Акимка, мужики какіе-то... Что это тамъ лежитъ за ними?

— Что они, бабушка, зачѣмъ?

— Каравулимъ, голубка, пока что... Староста насъ приставилъ къ яму.

— Къ чему? Къ кому приставилъ?

— Къ тѣлу примѣрно... къ скоропостижному тѣлу, чтобы, значитъ, для спокоя... станового ждемъ для порядка...

Вѣрочка пододвинулась и крикнула тоже. На отмели лежалъ дѣдушка, съ широко открытыми глазами. Страшный и бѣлый. Никогда онъ бѣлымъ такимъ не былъ. Борода торчитъ, еще ужаснѣе лицо его отъ этого: волосы на лобъ сбились, одинъ глазъ покрыли, по другому муха ползетъ... На самый зрачекъ сѣла, рѣсницы и не дрогнутъ... Дальше поползла, а мертвецъ все такъ же пристально смотритъ въ синее-синее сегодня небо... Плечо голое вывернуто, — рука подъ спину попала, оно и выдалось, торчитъ угломъ... Отъ него черезъ всю грудь шрамъ, красный, вспухшій. Подъ щекой громадный подтекъ... И крови-крови подъ шеей!.. Ужасъ!.. Просочилась въ песокъ, а все еще свертками сгустилась наверху.

Страшно Вѣрочкѣ, не можетъ глазъ отвести отъ уби-

таго... Должно быть, голаго нашли его крестьяне, собрали вѣтокъ и листьевъ, прикрыли. Изъ-подъ пихъ впереди босыя ноги торчатъ, на одной пальцы загнулись да такъ и закостенѣли. Около лохмотья чьи-то собраны, сума старая, рваная, клюка...

— Мухъ-то, мухъ-то сгоните! — заботливо хлопочетъ Устинья.

Мужики съ недоумѣніемъ смотрятъ на нее.

— Мухи... По глазу...

— Ему, милая, теперь все равно... Не чувствуетъ... Что муха, что другое... Ползи... Ему таперича слободно!

Согнанная съ глаза муха перелетѣла на шею... Только теперь замѣтила Вѣрочка рану, что тамъ запеклась, посинѣла и вздулась. Густо-густо обсѣли ее мухи.

— Ну, вы, подлыя! — смахнулъ ихъ мужикъ.

Снялись темнымъ роемъ и опять опустились.

— Не сгонишь ихъ... Кровь чувствуютъ.

— Милый ты мой!.. — плакала бабушка. — И христіанской кончины не сподобилъ тебѣ Господь...

— Пойдемъ, пойдемъ, бабушка... — умоляла ее Вѣра.

— Вправду, увели бы старушку, убивается попусту, нудитъ только...

— Эй, Акимка, подавай телѣжку... Вотъ что, матушка, какъ становой пріѣдетъ, сейчасъ и сдадимъ тебѣ тѣло, тогда и хорони, а теперь что же... Ѣхала бы домой, право... Что хорошаго...

— Сказываютъ, и Тимошку пымали въ городу! — слышалось около.

— Н-ну? — любопытствовала Устинья.

— Въ кабакѣ... онъ съ яво снялъ, значитъ, платье, всѣмъ и удивительно стало, — видятъ, сукно хорошее, чистое на Тимошкѣ-то... откуда ему Богъ послалъ, а онъ вдругъ какъ вынетъ сотельную бумажку да и оретъ: «Вотъ мы какъ. Пей въ мою голову, православные! За все плачу». Его сейчасъ Митричъ, нашъ онъ, за шиворотъ и сгребъ. Да о-земь. Ну, Тимошка видитъ, пропало его дѣло, и повинился. «Берите, братцы, говоритъ, деньги, а

меня къ угодникамъ пустите, грѣхъ мой замолить великій. А не пустите, вамъ же хуже, грѣхъ-то на васъ будетъ». Ну, они его не послухали и руки ему назадъ. Сидитъ таперича.

— Какъ онъ старика-то вашего!

— Еще вчера ихъ здѣсь обѣхъ видѣли. Старичокъ на вольномъ воздухѣ пилъ водку. И Тимошка съ нимъ.

Увозя домой старушку, Вѣра никакъ не могла понять, чего та убивается.

— Вѣдь истиранилъ онъ васъ, бабушка.

— Ахъ, истиранилъ... Да вѣдь и то надо вспомнить, какой на первыхъ порахъ онъ былъ-то... Пока пить да играть не сталъ... Душа въ душу жили мы съ нимъ тогда... И какъ увидѣла я его сегодня, такъ только эти первые сладкіе годы и помню я, а все, что потомъ было, словно туманомъ заволокло — и не вижу, и не знаю... Господи, прости Ты ему прегрѣшенія его ради кончины его мученической! — молилась она, вся обливаясь слезами. — Не вспомни Ты ему на страшномъ судѣ Твоемъ злобы да одури его! Не самъ собой онъ это... Прости и Ты, какъ я ему простила!..

XVIII.

Похоронили дѣдушку. Вѣра ждала, что бабушка теперь начнетъ оправляться. И въ обители думали — разъ Господь Своимъ промысломъ удалилъ съ ея дороги эту «препону великую», она пострижется и пріиметъ чинъ ангельскій.

— Хотя и до сихъ поръ ты была монахиней въ сердцѣ своемъ, ну, а теперь пора и вовсе къ намъ пріобщиться! — ласково убѣждала ее мать Варлаама.

Анфиса Кирилловна и сама подумывала о тишинѣ и спокойствіи монастырской кельи. Вѣрочка, пока что, могла жить съ нею.

— Недолго, — безъ грусти повторяла старушка. — Недолго! Земля меня къ себѣ тянетъ. Точно кто-то снизу

оттуда стучитъ во мнѣ и шепчетъ: «ну же, скорѣй, пора тебѣ».

Дѣвушка озабоченно всматривалась въ бабушку и, увы! вмѣсто признаковъ улучшенія, находила въ ней странное равнодушіе ко всему. Несчастіе со своимъ старикомъ она пережила спокойно, но послѣ: сядетъ въ кресло, не окликнутъ ее, она и просидитъ нѣсколько часовъ, безучастно глядя передъ собою въ уголъ. Забывалась—по нѣскольку разъ одинъ и тотъ же вопросъ предлагала Устиньѣ или внучкѣ; разъ ушла и пропала, только вечеромъ нашли ее на монастырскомъ кладбищѣ, покойно спящею на скамьѣ.

— Что ты, бабушка?—спросила ее Вѣра.—Развѣ не могла дома отдохнуть?

— Нѣтъ, надо привыкать къ этому мѣсту-то. Сладко здѣсь...

— Чѣмъ, бабушка, сладко?

— Ты не знаешь, ты молодая еще была, не тѣмъ занималась, а я со всѣми этими,—махнула она рукой на зеленые холмики, — дружила! И плакали мы, и радовались вмѣстѣ. Пора и мнѣ къ нимъ.

Мать Варлаама тоже замѣтила, что дѣло не ладно.

— Плоха бабушка твоя! — сказала она Вѣрочкѣ. — Пошлю вотъ за докторомъ въ городъ.

Пріѣхалъ и этотъ. Прежде всего потребовалъ мадеры, достали ему. Выпилъ...

— Я иначе не могу,—объяснилъ онъ.—Наука-то тоже жертвъ возліятельныхъ требуетъ!

Потомъ въ монастырь пошелъ прохладиться, къ молодой монахинѣ Еленѣ присталъ.

— Нутренняя болѣзнь у тебя, полечить бы надо.

Та прогнала его.

Порадовалъ мать Варлааму вѣсточкой:

— Скоро всѣ монастыри запрутъ, а монаховъ съ монахинями на Сахалинъ.

— Зачѣмъ это?

— А чтобы завѣтъ Господень исполняли: плодились, множились и населяли землю.

— Дуракъ ты, дуракъ и есть,—вспылила спокойная и невозмутимая мать Варлаама.—Читалъ ли ты когда Дмитрія Ростовскаго-то?

— Нѣтъ, не удостоился. Я такихъ книгъ не читаю...

— Жаль все бы мозгу-то больше прибавилось. И у него нашелъ бы ты, зачѣмъ монахи нужны. Кажутся они тебѣ, малоумному, негодными, анъ у Бога-то имъ особый счетъ ведется. Сухіе колья, кажется, выброситъ ихъ въ огонь,—а вставь ты ихъ въ землю, по нимъ виноградъ вьется, а безъ нихъ онъ бы погибъ и у земли весь изнылъ. Такъ и монахи... А ты невѣгласъ безсмысленный!—закончила она и велѣла ему идти вонъ изъ монастыря.

Докторъ смѣялся и, придя къ бабушкѣ, приказалъ ей языкъ высунуть. Посмотрѣлъ, сдѣлалъ глаза страшные и головою покачалъ, пульсъ въ руки взялъ, считать началъ.

— Ого-го-го, однако!

— Что однако?—нетерпѣливо спросила его Вѣрочка.

— Ну, старушка, плохо ваше дѣло, бай-бай въ деревянномъ маленькомъ домикѣ пора, совѣтую готовиться.

Вѣрочка разсердилась:

— Мы васъ не для того пригласили!

— А для чего, молодая особа? — Если для сладкихъ разговоровъ, такъ я не кондитеръ вамъ, а сказалъ по чистой совѣсти: будьте готовы, бабушкѣ вашей недолго осталось скрипѣть на семъ свѣтѣ.

Сунула ему скорѣе дѣвушка денегъ и вонъ выпроводила.

— Ты, бабушка, на него, на глупаго, не обращай вниманія. Его и мать Варлаама изъ обители выгнала и невѣгласомъ назвала.

— Мнѣ-то онъ правильно сказалъ,—улыбнулась она.—Что же, я не боюсь...

— Полно, полно, поживешь еще.

— Нѣтъ, дѣточка моя. Сюда,—показала она на сердце,—точно чья-то рука холодная проникаетъ и жметъ, и жметъ—и дышать-то нечѣмъ бываетъ. Ну, да слава Богу, что сама знаю. Приготовиться могу.

Приказала она себѣ сшить рубаху чистую, платье черное—люстриновое, башмаки нарочно купила новые. Выбрала даже мѣсто на кладбищѣ, въ самомъ далекомъ уголкѣ, гдѣ шиповникъ такъ сгустился, что въ стороны ему уже и дороги не было, все вверхъ рвался и черезъ изгородь перекидывался длинными колючими, щедро осыпанными краснымъ цвѣтомъ, вѣтвями.

— Тутъ будетъ хорошо лежать, покойно. Тутъ и шума никакого, и никто не зайдетъ сюда.

Окончивъ съ этимъ, сдѣлала она за себя вкладъ въ монастырь, какъ за мертвую, на «вѣчную свѣчку», на «вѣчное поминанье», свела счеты и указала Вѣрочкѣ, гдѣ ея деньги находятся. И когда всѣ ожидали съ болью и печалью, какъ бы и вправду не умерла «бабушка»,—она ожила и окрѣпла разомъ, какъ вялый цвѣтъ, въ засуху нежданно напоенный влагою.

— Ну, вотъ, видишь, бабушка, какимъ ты молодцомъ нынче!—радовалась Вѣрочка.

— Да, да... Точно десятка два годовъ съ костей скинула. Такъ бы я теперь все ходила да ходила...

И начала въ саду копаться сама — чего прежде не дѣлала, въ кельи въ гости заходила, то къ одной старушкѣ, то къ другой; а до сихъ поръ только въ церкви, да на монастырскомъ дворѣ съ ними встрѣчалась. Разъ даже въ городъ съѣздила съ Вѣрочкой, ее въ соборѣ оставила у обѣдни, а сама зачѣмъ-то къ нотаріусу сходила напротивъ,—какъ послѣ оказалось, завѣщаніе просила написать. На ея поблекшемъ лицѣ румянецъ явился, глаза загорѣлись ярче въ цѣломъ сіяніи мелкихъ морщинокъ, голосъ сталъ громче, и улыбка, давнымъ-давно не появлявшаяся, заиграла на ея устахъ. Вѣрочка всѣ свои опасенія забыла.

— Пора, бабушка, на зиму и варенье варить, и соленье всякое заготовлять.

— Пора, пора, вотъ погоди, скоро!—засмѣялась она.— Мы эту зиму не здѣсь жить будемъ.

— А гдѣ же?

— Ты гдѣ нибудь въ городу большомъ учиться станешь .. А я... Я тоже.

— Что тоже?

— Не здѣсь... Ну, чего пристала-то?.. Ишь, любопытчица какая.

Теперь, когда Вѣрочка уходила въ монастырь, ей бабушка говорила:

— Вернись скорѣе, мнѣ ужъ безъ тебя скучно.

— Ладно.

Бывало, если засидится въ школѣ, либо у матери Серафимы—смотритъ, и старушка за нею.

— Не помѣшаю я вамъ-то?

— Нѣтъ, бабушка, съ чего.

— Ну, такъ ужъ и я посижу... Погляжу ужъ на васъ-то...

И худѣть стала. Всѣ платья широки ей оказались. Лицо тоже опало.

— Это къ здоровью, — говорила мать Варлаама Вѣрочкѣ.—Ты думаешь, легко это чрево свое таскать. Тоже ноша, да какая! Иной разъ хребетъ-отъ жалится, жалится, ноетъ на чрево... Ну, а кто ежели худой — тому лучше, легче. И живетъ худой дольше. И сильнѣе онъ.

Одно только замѣчала странное Вѣрочка. Идетъ-идетъ ея бабушка, да вдругъ и оглянется вопросительно, а позади никого нѣтъ. Или, сидя въ комнатѣ задумавшись, вдругъ подыметъ голову и спрашиваетъ: «что?» Да не у Вѣрочки, а такъ. Шла она разъ подъ воротами и оглянулась. Воззрилась на нее Степанида и головой покачала.

— Кличутъ тебя?—спросила она.

— Да,—разсѣянно отвѣчала бабушка,—кличутъ!

— Ну, вотъ... Я знаю. Сколько разъ примѣчала...

А сама потомъ матери-игуменіи и говоритъ:

— Плохо ея дѣло. Вѣдь это вонъ оттуда кличутъ,— указала она на глубь зеленой аллеи, за которой виднѣлась ограда монастырскаго кладбища.

— Чего еще выдумаешь? — строго застучала на нее посохомъ мать-игуменья.

— Не стучи!.. Я знаю... Сколькихъ нашихъ старицъ проводила, и всѣ онѣ передъ концомъ-то самое это чувствовали, и звали ихъ туда гласы разные. Помнишь— Секлетею-то?.. Такъ ее не токмо звали, а за подолъ мантіи тянуло что-то! Все, говоритъ, тянетъ да тянетъ меня туда. Вотъ оно какое откровеніе-то бываетъ, и это ты, помяни мое слово, скоро, охъ! Скоро хоронить намъ Анфису-то придется.

— Не слышишь ли ты гласовъ?—смѣясь, спросила ее Варлаама.

— Нѣтъ. Ужъ будь спокойна. Услышу—сейчасъ схиму приму и изъ-подъ воротъ въ келью матери Меланіи уйду...

XIX.

Анфиса Кирилловна становилась бодрѣе и бодрѣе, но худѣла не по днямъ, а по часамъ. Цѣлые утра она возилась, перебирая комоды, сундуки и ящики. Въ ея комнатѣ на полу уже возвышались груды всякаго тряпья. Изъ старыхъ связанныхъ узлами чулковъ вытаскивала она, Богъ знаетъ, когда припрятанныя деньги и укладывала ихъ въ шкатулку. Подъ спудомъ, подъ цѣлыми горами всевозможныхъ лоскутковъ оказывались у нея золотыя вещи, кольца, серьги—все это поступало туда же. Наконецъ, черезъ недѣлю разобравшись, она позвала въ свою комнату Устинью.

На полу грудой лежали платья, бѣлье, шубки, накидки всякія изъ такихъ матерій, какихъ нынче и не видать ужъ!

— Бери это, голубушка, — приказала она. —Свяжи-ка въ узелъ.

— Куда, нести что-ль?

— Къ себѣ неси ужъ.

— Зачѣмъ ко мнѣ?

— А это я тебѣ за вѣрную службу... Чего ужъ, кажется...

Устинья попятилась и въ глаза ей воззрилась даже— не съ ума ли сошла старушка, нѣтъ, смотритъ на нее ласково и смѣется.

— Что-й-то я не пойму, мнѣ это?

— Тебѣ, тебѣ!..—и она, шутя, толкнула ее въ спину.

— Мать Пресвятая Богородица Черниговская!.. Да тутъ что добра-то, платьевъ, пальтовъ — и все мнѣ. Во всю жизнь не сносить.

— Ну, убирай, убирай!.. Мнѣ мѣсто нужно. Что ужъ...

Узлы были вынесены. Анфиса Кирилловна стала вынимать изъ другихъ ящиковъ куски старыхъ шелковъ да атласовъ, плотныхъ, какъ кожа. И складывала ихъ въ комодъ. «Эти-то въ наше время были—теперь такихъ не дѣлаютъ», соображала она. «Это, Вѣрочка выйдетъ замужъ, носить будетъ. А эта черная, это матери Варлаамѣ», и она надписала на бумажкѣ «матери-игуменіи отъ упокойницы, рабы Анфисы», приколола булавкою къ матеріи и положила въ другое отдѣленіе комода, нашла еще кусокъ—такая же надпись, но уже «матери Серафимѣ за Вѣрушкино неоставленьице». Одѣяло изъ бѣличьяго мѣха большое—встряхнула его—отлично сохранилось отъ моли, ни одной пушинки не упало. Сложила и опять бумажку: «Старицѣ Степанидѣ, подъ вратами—для тепла и успокоенія тѣлеснаго».

«Ей надо», соображала она про себя, «по зимамъ-то ноги у нея мерзнутъ—все за меня молитву прочтетъ».

Акимку позвала — нашла, гдѣ-то въ кладовой шубу енотовую, сѣрымъ сукномъ крытую. Выцвѣло сукно—ну, да ему отлично.

— Вотъ что, Акимушка, золотой ты мой... Возьми-ко носи на здоровье.

— Ну, вотъ,—съ недоумѣніемъ отозвался онъ,—сама сносишь..

— Это муской мѣхъ, не дамскій. Ночи, носи — мнѣ скоро деревянный мѣхъ понадобится. Я тебя не забуду, Акимушка, умру—получишь, я уже и записала тебѣ за труды твои. Только вотъ,—и она нахмурилась и въ дѣловой тонъ перешла, — знаешь, въ уголку-то мѣсто, гдѣ шиповникъ разросся?

— Это гдѣ въ опрошломъ году мать Епифанію схоронили?

— Нѣтъ, въ правомъ углу, голубчикъ. Такъ ты шиповникъ не тронь, не замай его, сердешнаго. Тамъ, я видѣла, птица живетъ внизу-то, гнѣздо вить начинаетъ. Что ее, Божью тварь, тревожить, а, отступя еще, поправѣй есть плѣшечка такая. Совсѣмъ голая лысинка — ея какъ разъ для меня довольно. Такъ вотъ, милый, вырой ты мнѣ тамъ ямку!.. Какъ услышишь, что померла я— такъ на томъ самомъ мѣстѣ. Да рой съ молитвой, не чертыхайся, не кляни никого. Трудно будетъ — не забывай, что я о тебѣ вспомнила на этомъ свѣтѣ и на томъ молиться буду. Такъ и знай! Съ хорошими мыслями рой, устанешь—отдохни, не сразу... А то, какъ чертыхаться да клясть будешь, тяжко и мнѣ въ такой могилѣ лежать придется, — охъ, какъ тяжко! И еще къ тебѣ просьбица моя—глубже рой, а чтобы вода сверху не сочилась, припаси глинки и округъ ямы-то сложи, какъ опустятъ меня въ могилку—первымъ дѣломъ глиной забросай, а потомъ землею ужъ. Понялъ ты меня?

— Понялъ, матушка, Анфиса Кирилловна?

Она говорила съ нимъ такимъ дѣловымъ тономъ, что онъ и разжалобиться не могъ; по крайней мѣрѣ ему и въ голову не пришло.

«Заботливая старуха»,—мелькало у него въ мысляхъ, «какъ обдумала!»

— Понялъ, матушка, все сдѣлаю, какъ сказали...

— Вотъ еще... Вишь, у меня бутылочка здѣсь стоитъ. Изъ Ерусалима мнѣ богобоязненная инокиня одна привезла, такъ—какъ выроешь ты ямку—сейчасъ и полей ее маслицемъ этимъ. Вотъ оно, тутъ стоять будетъ. Вспомни, не забудь.

Затѣмъ, успокоившись и кончивъ со всѣми заботами, старуха на часъ, на два въ день, въ хорошее время начала ходить на свою будущую могилу. Устинья носила за ней стулъ туда и оставляла ее одну. Старуха гнала ее прочь отъ себя.

— Нечего тебѣ здѣсь прохлаждаться... Ступай, ступай!..

Когда вдали затихалъ шумъ ея шаговъ и скрипъ за-

творившейся за нею калитки, Анфиса Кирилловна, полузакрывъ глаза, представляла себѣ, какъ она будетъ лежать здѣсь «тихо, мирно и благообразно». Какъ крѣпко надъ нею наслоится земля, и станетъ «вся эта зелень отрадная пробиваться къ ея деревянной кельѣ» своими незамѣтными корнями. И такъ же, какъ теперь, распоются птицы вверху, гомоня и возясь въ листвѣ, пожалуй, монахини посѣютъ кусты, здѣсь и подымутся они, и станутъ въ нихъ вить гнѣзда дрозды. Дроздъ птица умная и поетъ когда—словно Богу молится. И солнышко обласкаетъ могилу ея тепломъ и свѣтомъ... Вѣрочка пріѣдетъ сюда когда-нибудь, можетъ, замужемъ будетъ, кудрявыя головки дѣтей наклонятся надъ этимъ мѣстомъ и станутъ спрашивать: «Здѣсь, что ли, бабка лежитъ?..» И удивятся, зачѣмъ это ее зарыли въ землю. И сладкая грусть охватывала старушку.

— Что все, сказываютъ, помирать собираешься?—приходила къ ней сюда Варлаама.

— Да. Надо, матушка-игуменья.

— Здѣсь, что-ли, мѣсто себѣ выбрала?.. Ничего, кусочекъ хорошій. А я тамъ вонъ.

И онѣ переходили туда, спокойно разсуждая, чей уголокъ лучше.

— Правда, здѣсь тебѣ «веселѣе» лежать будетъ около своихъ,—соображала Анфиса Кирилловна,—справа одна инокиня, слѣва другая.

Но она не завидовала Варлаамѣ. Игуменья всю свою жизнь тормошилась и возилась съ инокинями. И по смерти выбрала себѣ могилу между ними. Ея, Анфисы Кирилловны, мѣсто лучше. Деревьевъ нѣтъ, правда. Зато солнцу доступа больше. Опять же тишина. Сюда часто монахини заходятъ, а туда, въ тотъ уголокъ, рѣдкая забредетъ...

— Тишина!—еще разъ повторяла она, свою жизнь любившая тишину.—Опять же и то—тутъ, гдѣ мать Варлаама хочетъ—гробъ у гроба стоитъ почитай. Тѣсно. А ей—просторно будетъ. Тихо около. Пріятельницы ея все-таки шагахъ въ шести-семи.

Потолковавъ съ Варлаамой, обѣ онѣ подымались и шли вонъ отсюда, вздыхая и спокойно думая о переселеніи въ землю, точно изъ одной кельи въ другую.

— Рано только ты собралась, мать!—укоряла ее Варлаама.

Старушка молча улыбалась—она знала, и это ей было довольно.

— Вотъ что,—пришла она разъ къ матери Серафимѣ.— Вы ужъ не оставьте мою Вѣрочку. Въ случаѣ...

— Ну, еще подождемъ этого случая. Ишь, какая вы бодрая нынче.

— Господь мнѣ посылаетъ. Потому надо... И свѣчка какъ погасаетъ, такъ вспыхиваетъ...

— Ну, ну! А за Вѣрочку вы не безпокойтесь. Я уже все обдумала. Ей, мать моя, безъ насъ-то еще и лучше будетъ. Что ужъ тутъ! Мы вѣдь старухи, только на дорогѣ стоимъ у нихъ. Живому—живое, и молодому—не то нужно...

— Такъ, такъ, что ужъ... я ужъ...

— Ну, да, «ужъ»,—засмѣялась мать Серафима. — На ноги мы Вѣрочку поставили, тамъ ея будетъ дѣло.

— Вотъ, вотъ я и говорю!

Въ церкви Анфиса Кирилловна служила все панихиды по покойномъ мужѣ и на колѣняхъ горячо молилась, чтобы вмѣнилъ ему Господь мученическую кончину его во искупленіе. Милостыню раздавала она имени его и вклады дѣлала.

Затѣмъ еще черезъ нѣсколько дней внезапно простилась съ Вѣрочкой и уѣхала.

— Куда?—спрашивали ее.

— Такъ надо. Дѣло одно.

Вернулась черезъ недѣлю просвѣтленная совсѣмъ.

— Ну, теперь все покончила!—радовалась она. — Теперь ужъ никакихъ дѣловъ такихъ за мною... Была на могилѣ старшей дочери, поправить велѣла,—крестъ-то покосился. Опять же панихиду отслужила и поплакала. Теперь ужъ хоть завтра въ дорогу.

XX.

Ночь была ясная, лунная. На монастырской колокольнѣ било два часа.

Анфиса Кирилловна лежала въ постели. Сегодня ей не спалось, но безсонница была легкая, безъ жару, безъ истомы, безъ тщетныхъ и мучительныхъ усилій забыться и задремать; старушка два раза уже вставала и ходила въ комнату къ Вѣрочкѣ. Крестила внучку, при чемъ котенокъ, спавшій на подушкѣ у той, просыпался, томно мурлыкая и раскидываясь еще вольготнѣе, упирался розовыми лапками въ разгорѣвшуюся щеку дѣвушки. Теперь старушка успокоилась. Слыша черезъ стѣну ровное дыханіе Вѣры, широко открытыми глазами смотрѣла она въ сумракъ, гдѣ кроткій свѣтъ лампады, ровно горѣвшей за краснымъ стекломъ, боролся съ серебристымъ сіяніемъ мѣсяца, полосою лежавшимъ на полу черезъ большое, ничѣмъ не завѣшенное окно. На этой полосѣ рѣзко обрисовывались отраженныя вѣтви какого-то куста. Порою онѣ колыхались, и Анфиса Кирилловна соображала: «должно быть, вѣтеръ подымается». Разъ по полу пробѣжало черное пятно, и тотчасъ бабушка вспомнила, что какая-то птица повадилась по ночамъ летать мимо, большая-большая. Какъ-то даже за окномъ ея сѣла и вся на лунномъ свѣтѣ обозначилась.

И какъ тихо!.. Такъ тихо, что въ возбужденномъ слухѣ сами собою рождаются загадочные звуки, плывутъ-плывутъ, свиваются и словно падаютъ въ какую-то бездну, не оставляя ничего послѣ себя. Что-то словно шуршитъ за стѣной, должно быть, вѣтеръ сильнѣе... Еще и еще... Заколыхало вѣтви такъ, что онѣ въ домъ застучали, будто за нимъ стоитъ кто-то... А свѣтъ лампады ровно льется, и отрадно Анфисѣ Кирилловнѣ смотрѣть, какъ выступаетъ въ свѣтломъ кругѣ этого огонька потускнѣвшій образъ Черниговской Божіей Матери... «Ахти мнѣ», думается старушкѣ, «обо всемъ земномъ позаботи-

лась, а главнаго-то не сдѣлала. Ризъ на иконахъ не вычистила». Потемнѣли даже, и сіяніе лампады не играетъ на нихъ, только корона свѣтится самоцвѣтными каменьями... Всматривается старушка въ ликъ Богородицы, благостно обращенный къ ясному лицу Младенца, сидящаго у Нея на колѣняхъ со свиткомъ въ одной рукѣ и съ другою, протянутой и сложенной для благословенія. И чудится Анфисѣ Кирилловнѣ, что эта рука къ ней движется, что сама Пречистая смотритъ уже не на Сына Своего, а на нее—и хорошо, и легко на душѣ, и чувствуетъ она: «Умирать не страшно, хотя сейчасъ... Готова!..»

Невольно вспоминается ей, какъ эта же икона висѣла у ея матушки и такъ же какъ у нея, т. е. съ подушекъ обѣ онѣ видѣли ее передъ собою. Вотъ этотъ вѣнчикъ у короны сдѣлала ея мать, корону убрала рубинами и изумрудами она уже... И такъ всю жизнь со всѣми своими великими горестями и печалями провела она подъ этимъ сіяніемъ кроткимъ, и если жаловалась кому, такъ только Ей, Предстательницѣ; если и просила помощи, такъ у Нея лишь одной. И вспоминалось Анфисѣ Кирилловнѣ, какъ, избитая, въ синякахъ, съ болью во всѣмъ тѣлѣ, съ горькимъ сознаніемъ обиды въ смущенной душѣ, она лежала послѣ безобразныхъ сценъ съ мужемъ, слушая изъ другой комнаты его пьяный и дикій бредъ, и какъ подъ сіяніемъ этой лампады, подъ взглядомъ Пречистой Дѣвы смирялась тревога, разсѣевалось озлобленіе, упрекъ замиралъ на устахъ—и слезы кротости и любви выступали на глазахъ ея... А потомъ, словно кошмаръ, гибель всего, во что она вѣрила: взяли ея мужа—и ни въ сердцѣ своемъ, ни во взорахъ близкихъ людей, невольно опускавшихся, она не находила ему оправданія. Слава Богу, прошло то время, совсѣмъ прошло. Она увезла сиротку внучку и скрылась здѣсь, въ тишинѣ и забвеніи, въ тѣни этой обители... И дни шли за днями, годы за годами—незамѣтно, одинъ похожій на другой, подъ звонъ все тѣхъ же колоколовъ, все съ тѣми же старицами, ма-

ленькія слабости которыхъ и огорченія не вносили особенно густыхъ тѣней въ ея счастливое существованіе... И выростила она свою дѣвочку, и чувствуетъ, что если на Страшномъ Судѣ Господнемъ спросятъ у нея, «что ты сдѣлала съ ней и чему научила ее», она смѣло подыметъ свои очи и отвѣтитъ: «добро сдѣлала и добру научила». И благодарное чувство наполняло сердце ея, когда она вспомнила, какою любовью заплатила ей внучка, какъ она заботилась о своей старушкѣ, какъ онѣ обѣ сжились здѣсь... «Призри ее, Богородица, не оставь, когда меня не будетъ!» беззвучно шепчетъ бабушка, и чудится ей во взглядѣ благостнаго лика внятное: «Призрю и не оставлю»...

«Не сдѣлала ли я зла кому?»—роется Анфиса Кирилловна въ памяти. «Можетъ, по невѣдѣнію и незнаемое?» Только въ своей душѣ она не находитъ ни раздраженія, ни чувства обиды... Она всѣмъ простила, значитъ, и всѣ ее простятъ также... Одно только темнымъ облакомъ заволокло ея послѣдніе дни: смерть мужа... Что-то защемило сердце Анфисы Кирилловны. Она поднялась на подушкѣ. Такъ и видится ей зеленый берегъ рѣки, песчаная отмель и это прикрытое вѣтвями могучее тѣло ея безпутнаго старика, съ широкою раною на шеѣ, съ багровыми и синими подтеками на лицѣ, съ мухою, спокойно чистившею себѣ лапки на его остеклѣвшемъ глазу, и съ другими плотною черпью каймою осѣвшими на самой ранѣ... Чу, что это прожужжало въ воздухѣ? Не та ли муха? Вьется... Подлетѣла къ лампадѣ, сѣла на нее и какою-то свѣтлою искоркой упала внизъ... Да... Это одно стоитъ передъ нею—и не знаетъ она сама, въ который уже разъ допрашиваетъ старушка у своей совѣсти у иконы, которой вѣритъ, у огонька этой лампады, у тишины ночной, у полосы луннаго свѣта; могла ли она поступить иначе? Вѣдь онъ самъ бы ушелъ, только сначала измучивъ Вѣрочку, оскорбивъ въ ней все, что съ такимъ тщаніемъ было взрощено въ ея дѣтской, чистой и незлобивой душѣ. Онъ ушелъ бы, когда гармонія этой

кроткой жизни была бы нарушена... Она отпустила его съ миромъ, она снабдила его всѣмъ для новаго существованія. Онъ самъ нашелъ недостойныхъ товарищей... И опять ея уста шепчутъ молитву за него... И ужъ не только ради мученической кончины его молитъ она прощенія ему,—а ради слезъ нежданно тогда пролитыхъ имъ, ради всей ея чистой жизни, ради искупленія, которое она несла за него и ради «Твоей собственной благости, Господи!» заканчивала она эту молитву. И чудится ей, что въ тишину ея комнаты вселилось нѣчто, чей-то духъ стоитъ между нею и этою лампадой, но не злой, не мстительный, а очищенный скорбью и покаяніемъ. Чувствуетъ, что она не одна здѣсь, вмѣстѣ съ нею присутствуетъ кто-то, чье дуновеніе едва-едва замѣтно проносится по ея лицу и волосамъ... Даже огонекъ въ лампадѣ если и не заколебался, то все же въ немъ замѣтно движеніе. Онъ вытянулся ярче, освѣтилъ низенькую комнату и опять упалъ за края краснаго стекла и мирно свѣтитъ оттуда на лежащую... Не забыла ли она еще чего?.. Нѣтъ, кажется, все... Да!.. Кому она отдастъ иконы? Она обѣщала Сергія Радонежскаго (слава Богу, ризу ей хорошо обновилъ мастеръ въ городѣ)—въ монастырь. Была и прежде на немъ риза, но тонкая и не искуснаго чекана. Теперь не стыдно сдѣлать это пожертвованіе, по крайности, будутъ молиться и ее вспомнятъ, скажутъ: «помяни ее, Господи, во царствіи Твоемъ...» Она смѣется, вспоминая удивленіе мастера, которому она отдала старинные Екатерининскіе рублевики. Двѣсти штукъ ихъ было, отъ бабки еще достались ей они вмѣстѣ съ многимъ другимъ. Эти-то—ею и были назначены на ризу. Вонъ другія иконы—тѣ то же въ церковь Варвары Великомученицы, а эту въ соборъ—не иначе. Черниговскую Божію Матерь—надо Вѣрочкѣ. Фамильная. Она отъ матери къ старшей дочери споконъ вѣку шла, съ тѣхъ поръ какъ еще при Екатеринѣ I домъ сгорѣлъ, и все бывшее въ немъ погибло, а на другой день среди головней, золы и угля нашли этотъ образъ уцѣлѣвшимъ и чу-

десно сохранившимся. Анфиса Кирилловна вѣрила, что всякая злая мысль у ея внучки испарится, какъ роса подъ солнцемъ, безо всякаго слѣда при одномъ взглядѣ на ея икону.

И когда зазвонили утренніе колокола къ ранней обѣднѣ, когда въ кухнѣ послышался шумъ,—Устинья встала, попробовала было подняться и Анфиса Кирилловна—но уже не могла. Шевельнулась и руку переложила и голову повернула, но встать у нея не было силъ, точно ее подрѣзало что-то. Ни малѣйшей боли нигдѣ, а чувствуетъ, что придется ей теперь уже лежать—пока не придетъ ея часъ... Что же, она только улыбнулась, счастливая и тихая... А колокола звонили все громче и громче, будя окрестность и наполняя всю ея маленькую комнату торжественнымъ благовѣстомъ. Онъ еще казался величавѣе въ окружавшей ее мистической тишинѣ... И отзвонили... И опять безмолвіе обступило ее воспоминаніями.

Устинья вошла къ ней.

— Позови Вѣрочку.

— Встанете чай пить?

— Нѣтъ, не встану! Позови Вѣру—разбуди.

Вѣра прибѣжала встревоженная, но успокоилась, увидя улыбающееся лицо бабушки.

— Что ты, милая?

— Я не встану больше, Вѣрочка. — Она положила ей руку на голову.—Помни, не разлучайся никогда съ этою иконою...—указала Анфиса Кирилловна.—А остальныя въ обитель, какъ скажу я тебѣ. Вотъ что еще: сегодня ты ужъ не ходи въ монастырь, а побудь со мною... Можетъ быть, вечеромъ...

Но, замѣтивъ, что въ глазахъ дѣвушки выступили слезы, она улыбнулась еще разъ.

— Будетъ тебѣ, глупая... Видишь, я не страдаю, совсѣмъ... Что ужъ! — прибавила она по своей привычкѣ.

XXI.

Маленькій домикъ Рѣпьевой весь наполнился монахинями. Черные силуэты ихъ мелькали въ комнатахъ и рѣзко выдѣлялись на зеленомъ фонѣ небольшого свѣжаго и сплошь осыпаннаго сегодня алмазною росою садика. Даже мать Степанида бросила врата обители и посадила туда на свое мѣсто молоденькую дѣвицу. Варлаама, Серафима и другія монахини безмолвно сидѣли въ гостиной,—онѣ еще не могли войти въ спальню къ Анфисѣ Кирилловнѣ. Та передъ соборованіемъ исповѣдывалась и пріобщалась. Вѣрочка, блѣдная, растерянная, показывалась то у себя, гдѣ сидѣли ея товарки по школѣ рисованья, то среди важныхъ молчаливыхъ старухъ, то въ саду. Не зная, что ей дѣлать, въ ожиданіи близкой бѣды и перелома всей ея жизни, она то припадала къ матери Серафимѣ, то садилась рядомъ съ Варлаамой. Бабушки все же безмолвно гладили ее по головкѣ, ласкали и, точно отвѣчая ея глазамъ, полнымъ слезъ, покачивали головою, словно говоря: «довольно, грѣшно роптать». Наконецъ, и отецъ Серапіонъ вышелъ и позвалъ Вѣрочку. Она бросилась къ умирающей; обняла ее и прижалась къ ея разомъ исхудавшему лицу... Какіе большіе глаза у бабушки, какъ обострился носъ! Губы бѣлыя-бѣлыя совсѣмъ.

— Послѣ, послѣ простимся...—съ усиліемъ шепчетъ старушка.—Въ правомъ верхнемъ комодѣ пакетъ.

Вѣрочка пошла, отперла комодъ. Тамъ лежало нѣсколько конвертовъ. Дѣвушка съ недоумѣніемъ посмотрѣла на бабушку.

— Который отцу Серапіону за исповѣдь... Поди, отдай. Этотъ ли? Покажи. Другой за похороны, тотъ потомъ... позови старицъ!

Вѣрочка, глотая слезы, пошла къ священнику. Тотъ взялъ конвертъ съ деньгами и изумился.

— Распорядительная старушка,—похвалилъ онъ.—Обо всемъ озаботилась заранѣе, чтобы не застало, ее яко тать

въ нощи. Ну, что же, дай Богъ каждому. Истинно во блаженномъ успеніи!..

Вмѣстѣ съ монахинями вошла и дѣвушка въ спальню къ бабушкѣ.

— Умру...—заговорила она,—умру, такъ въ лѣвомъ верхнемъ комодѣ тутъ. Простите, Вѣрочка раздастъ.

— О насъ заботится,—недовольно заговорила мать Варлаама.—И что это еще; умру да умру. Вонъ я сколько разъ умирала и исповѣдывалась—и все жива: на дыбахъ-то брожу, пока Господь грѣхамъ терпитъ, и ты вотъ..

Но тутъ Анфиса Кирилловна строго посмотрѣла на нее, такъ что у Варлаамы точно языкъ обрѣзало.

— А и ежели...—смущенно заговорила она,—что же, надо надѣяться...

— Я и надѣюсь на милосердіе Его!—обратила старушка взглядъ на иконы. — Вижу... Но уже плохо. Словно пятно какое между мною и вами дрожитъ... Почитайте, почитайте-ко...—и взглядомъ показала она на Евангеліе.

— Которую главу?

— А на удачу—раскройте...

Мать Варлаама сѣла. Кругомъ столпились монахини. Благоговѣйная тишина нарушалась только ихъ дыханіемъ, да шелестомъ платья... Игуменья раскрыла книгу и начала:

«И вотъ пришелъ человѣкъ, именемъ Іаиръ, который былъ начальникомъ синагоги. И, падши къ ногамъ Іисуса, просилъ Его войти къ нему въ домъ.

«Потому что у него была одна дочь, лѣтъ двѣнадцати, и та была при смерти. Когда же Онъ шелъ, народъ тѣснилъ Его».

Вѣрочка, сидя въ ногахъ у бабушки, безмолвно плакала... Смутно вспоминала она потомъ, какъ совершалось соборованіе, какъ снова началось прерванное чтеніе, какъ дребезжащій, проникнутый внутреннимъ волненіемъ голосъ Варлаамы произносилъ (урывками укладывалось все это въ памяти дѣвушки):

«Но Іисусъ, услышавъ это, сказалъ ему: не бойся, только вѣруй, и спасена будетъ».

И потомъ:

«Всѣ плакали и рыдали о ней, но Онъ сказалъ: не плачьте—она не умерла, но спитъ...»

Потомъ сталъ въ головахъ священникъ и читалъ что-то... Вѣрочка помнитъ, какъ бабушка подняла было руку, чтобы перекреститься, но не осилила,—и Серафима взяла ее руку въ свою и въ то время, какъ читалъ отецъ Серапіонъ, дѣлала крестное знаменіе, и благодарный взглядъ старушки скользилъ по всѣмъ окружившимъ ее лицамъ. Вдругъ умиравшая очнулась, точно какая-то забота пробѣжала по ея лицу.

— Что тебѣ?—наклонилась къ ней Серафима.

— Вѣрочка гдѣ?.. Гдѣ?

Очевидно, глаза уже плохо служили ей.

— Здѣсь я, бабушка.

Вѣра взяла ея руку и приложила къ губамъ.

— Вотъ... забыла... Акимкѣ напомни... Устиньѣ отдай за годъ впередъ... Плиту не надо, слышишь?.. Какъ у мамы твоей, крестъ деревянный поставь.

Еще смутнѣе, будто въ туманѣ, помнила Вѣрочка, точно все это застили ей слезы, какъ бабушка благословила ее, какъ потомъ она сама безъ посторонней помощи вдругъ подняла руку и стала словно снимать съ лица и заострившагося носа паутину, и глаза у нея все шире и шире раскрывались, и радостное изумленіе было въ нихъ, и свѣтлая улыбка ложилась на безкровныя губы...

— Бабушка, бабушка!—звала ее Вѣрочка.

— Что ужъ... какъ ужъ...—шептала та.

— Не желаешь ли чего?—наклонилась къ ней мать Варлаама.

Послѣдній проблескъ жизни озарилъ умирающую, свѣтильня вспыхнула еще разъ, чтобы погаснуть совсѣмъ.

— Да, желаю...

— Чего?

Она приподнялась и опять упала.

— Желаю,—скорѣеугадали, чѣмъ слышали посторонніе,—разрѣшитися и со Христомъ быти!

— Аминь!—послышалось тихое и торжественное священника, и онъ началъ отходную...

Розовые лучи заката широко лились въ комнату... Съ послѣднимъ изъ нихъ отошла въ царство свѣта, тихая, кроткая и робкая душа старушки... Вѣрочку увели пока въ монастырь. Мать Степанида пришла обмывать бабушку. Варлаама и Серафима остались тоже въ домикѣ...

Словно сонъ, помнится Вѣрочкѣ ночь за окномъ—темная; сырая. Небо заволокли тучи, въ стекла стучались неугомонныя капли дождя, будто допрашиваясь: надъ кѣмъ это горятъ тутъ восковыя свѣчи. Изрѣдка въ застоявшемся воздухѣ проносилось чье-то дуновеніе, и пламя свѣчей колебалось, и странныя тѣни бѣжали по неподвижному лицу съ опущенными сѣдыми рѣсницами, по рукамъ сложеннымъ, на груди, и потускнѣвшему золоту покрова... Монотонное чтеніе... Мать Степанида вызвалась и, перевертывая листы, ласково и важно смотритъ на Вѣрочку.

— Шла бы спать,—шепчетъ она ей.—Чего ты... Завтра помолишься...

И пришло это завтра. Тучи не сошли съ неба, вся зелень въ садикѣ повисла, обмокшая, словно заплаканная. Слезы падали съ нея на землю, слезы струились по стекламъ оконъ и по стѣнамъ домика, ровно капали съ кровли въ образовавшіяся за ночь лужи... Вѣтеръ блуждалъ тоскливо вокругъ, въ трубахъ стоналъ, и когда бабушку понесли въ открытомъ гробѣ (заранѣе заказала—какъ умерла сейчасъ же и доставили изъ города), онъ забирался подъ покровъ, словно искалъ тамъ чего-то, шевелилъ ея сѣдые волосы... Странно было совсѣмъ обмиравшей дѣвушкѣ видѣть, какъ на подушкѣ лежитъ сжавшееся въ кулачокъ лицо ея бабушки, какія синія пятна выступили на немъ. Гробъ несли на рукахъ, и голова Анфисы Кирилловны, въ тактъ мѣрному шагу

монахинь, качалась вправо и влѣво на тонкой шеѣ. Отпустъ въ рукахъ вздрагивалъ и шевелился, точно дрожали державшія его закостенѣвшія уже руки... Кто-то плакалъ позади; у Вѣрочки уже слезъ не было. Въ церкви во время панихиды она видѣла только восковыя руки изъ гроба, желтыя, тонкія. Лицо бабушки заслоняла фигура одной изъ монахинь. Поздно вечеромъ вошла Вѣрочка въ церковь, бабушка такъ же покойно спала послѣднимъ сномъ, только вѣки ея словно слиплись. Огоньки лампадъ робко вздрагивали за стеклами, колыхалось пламя свѣчей, загадочныя тѣни бѣжали по темнымъ расписаннымъ стѣнамъ, на которыхъ то выступали, то вновь пропадали во мракѣ золотые вѣнцы полустертыхъ ликовъ. Тускло свѣтились ризы, и таинственно звучалъ голосъ монахини, произносившей въ этой тишинѣ священныя слова. Вѣрочкѣ казалось, что и лики иконъ, и ветхія изображенія святыхъ по стѣнамъ, и самыя колонны, и огоньки свѣчей и лампадъ прислушиваются къ этимъ словамъ, и черная ночь, столпясь тысячами тѣней, за окнами, тоже боится проронить хоть одинъ звукъ... Зашипѣла и погасла догоравшая свѣча... Остатокъ фитиля, смеживъ умирающій огонекъ свой въ растопившемся воскѣ, пустилъ вверхъ, словно послѣднее дыханіе, струйку дыма... Тихо-тихо подымется она и тонетъ въ сумракѣ подъ тяжелыми сводами... Гдѣ-то теперь утонула душа ея старушки?.. И Вѣрочка въ первый разъ сегодня находитъ у себя живоносные источники слезъ, и легко ей на душѣ становится, такъ легко, что, немного спустя, она засыпаетъ на скамейкѣ у стѣны и открываетъ глаза только тогда, когда солнце уже смотритъ въ церковь, и пламя свѣчей незамѣтно колышется въ яркомъ свѣтѣ дня... Все просвѣтлѣло кругомъ, тучъ какъ не бывало. Синее небо видно въ окно... И только лицо усопшей кажется еще меньше, словно истаяло въ эту ночь въ молчаніи и тишинѣ храма.

Акимка не забылъ приказаній, отданныхъ ему старушкой... Все было исполнено, какъ она хотѣла. И

шиповникъ съ гнѣздами не тронули—онъ обступилъ съ одной стороны могилу, и когда въ нее подъ молитвенный напѣвъ опускали гробъ, стоявшія около монахини нечаянно толкнули длинныя вѣтки, и пышные розовые лепестки полетѣли внизъ на черную съ серебряными крестами крышку... Вслѣдъ за ними посыпались комья земли, послышались всхлипыванія... Вѣрочка чувствуетъ, что кто-то беретъ ее за руки и ведетъ за собой; она безсознательно повинуется. Она лишена теперь всего. Ей все равно,—кругомъ пустота... Такая пустота, что ей страшно шевелиться, думать, говорить и плакать въ ней.

Только колокола, такъ печально звонившіе, когда отпѣвали бабушку, напутственно провожавшіе ее въ могилу, и теперь наполняютъ эту страшную пустоту. Она прислушивается къ нимъ, чутко прислушивается, и ей кажется, что она начинаетъ понимать ихъ языкъ, разбирать сочетанія, всю жизнь проносившіяся надъ нею, встрѣчавшія ея пробужденіе и благословлявшія ее на сонъ грядущій... Колокола, всякій выдающійся день ея простой и тихой жизни осѣнявшіе своимъ звучнымъ и торжественнымъ привѣтомъ... И теперь она, приподнявшись на постели, слушаетъ ихъ, съ болью слѣдитъ за послѣднимъ ударомъ... Вотъ-вотъ замираетъ онъ... замеръ... Только въ воздухѣ что-то дрожитъ послѣ него, будто медленно уносящаяся куда-то душа потонувшаго звука... Услышитъ ли она ихъ потомъ, въ той пустынѣ, невидимой и страшной, которая открываетъ ей неоглядную даль—тамъ, за стѣнами этого тихаго и мирнаго монастыря?

XXII.

Подъ грохотъ почтоваго поѣзда, чуждая всему ее окружавшему, Вѣрочка поневолѣ уходила въ самое себя и съ грустнымъ удовольствіемъ припоминала знакомыя лица и мѣста, всю эту вчерашнюю быль, такъ не похожую на сегодняшнюю сказку, на дѣйствительность, кажущуюся

ей фантастическимъ сномъ. Припоминала: занявшійся травою холмикъ надъ гробомъ бабушки, бѣлый крестъ, пахнувшій еще сосною, кусты около, торопливо убиравшіеся бѣлыми цвѣтами, скамью, куда приходила бесѣдовать съ нею бабушка Варлаама, возню чижей и щегловъ въ густолистьѣ вязовъ и липъ и гулкую торжественную молвь монастырскихъ колоколовъ, этотъ священный говоръ мѣдныхъ языковъ о чемъ-то не здѣшнемъ, великомъ, таинственномъ, рождавшійся и замиравшій въ высотѣ... И теперь, въ шумѣ желѣзной дороги, порою чудились ей знакомые удары, именно такіе, какіе напутствовали ее, когда она отъѣзжала отъ тихой и мирной пристани, такъ безмятежно и безболѣзненно пріютившей ея счастливое, безоблачное дѣтство. Она хотѣла самое себя увѣрить, что стоитъ ей только открыть глаза, и передъ нею въявь забѣлѣютъ облитыя солнечнымъ свѣтомъ стѣны монастыря съ кудрявыми березами около, съ голубыми звѣздными куполами за ними и громадною сквозною колокольней, словно попавшею въ тучу всякой крикливой, кругомъ нея роившейся, птицы... Но, увы! открывая глаза, она видѣла какое-то сладкое и глупое лицо сидѣвшаго напротивъ молодого человѣка, еще болѣе сладкое и глупое отъ его усилій быть любезнымъ съ молодою «монахиней», каковою онъ считалъ Вѣрочку. У нея не было другихъ костюмовъ, и она выѣхала въ своемъ обычномъ. Черное люстриновое платье, черный платочекъ на головѣ... И платье съуживалось въ рукавахъ у самыхъ кистей рукъ—совсѣмъ «по-иночески», какъ былъ убѣжденъ ея случайный спутникъ. Она и спящею притворилась, чтобы онъ не слишкомъ приставалъ къ ней съ разспросами. Такъ ей было лучше. Такъ ее еще окружалъ ея міръ. Она видѣла всѣхъ этихъ печальныхъ и смятенныхъ монахинь, выбѣжавшихъ ее проводить за ворота обители, слышала напутственный говоръ благословеній... Что-то теперь дѣлается въ ея домикѣ? Мать Варлаама поселила тамъ на-время одну старую и вѣрную женщину.

— Когда-нибудь, измученная и усталая, захочешь отдохнуть—анъ келійка-то твоя мирная и будетъ тутъ готова. Пріѣдешь—точно вчера ее оставила.

И трогать ничего не велѣла игуменья, пусть хоть черезъ десять лѣтъ будетъ, все какъ было въ тотъ вечеръ, когда разстроенная дѣвушка ходила по милымъ комнатамъ, прощаясь съ ними надолго. Да! Еще мѣсяцъ тому назадъ, когда онѣ всѣ ждали отвѣта Ряднова на письмо его сестры Серафимы, Вѣрочку такъ тянуло въ этотъ міръ, такъ хотѣлось испробовать свои молодыя силы, помѣряться съ его шумными волнами и побѣдить ихъ... Въ яркихъ краскахъ рисовалась и слава, и счастье, призрачное, словно сонъ, издали манившее ее къ себѣ... А когда пришло это письмо: милое, доброе, полное ласки и участія—ей вдругъ стало страшно. Ее такъ потянуло навсегда остаться посреди ставшихъ ей родными и близкими старухъ, позабыть даже, совсѣмъ позабыть о томъ мірѣ, который въ неизвѣданныя дали раскидывался за ихъ гостепріимными стѣнами! Когда она подумала, что ей одной придется столкнуться съ этимъ чуждымъ міромъ лицомъ къ лицу!.. И теперь, хотя все уже совершилось, Вѣрочкѣ хотѣлось бы еще вѣрить, что это сонъ, и только сонъ, что вчерашняя быль въ краскахъ и звукахъ незыблемо стоитъ еще кругомъ. А какъ провожали ее колокола!.. Даже самый большой ударизъ — вѣроятно, бабушка, по обительскому повѣрію, услышавъ его, молилась за внучку въ тѣсномъ и темномъ гробѣ...

Да, вотъ это письмо. Она чувствуетъ его въ карманѣ. Оно одно еще дѣлаетъ ей менѣе страшнымъ чуждый и, какъ ей казалось вчера вечеромъ и сегодня утромъ, враждебный ей міръ... Она вынула лоскутокъ почтовой бумаги и стала пробѣгать ровныя, твердымъ почеркомъ написанныя строки.

«Милая и дорогая сестра, — писалъ Рядновъ. — Очень тебѣ благодаренъ за то, что ты ни минуты не сомнѣваась въ моей готовности сдѣлать все, что могу, для нашей Вѣрочки. Ты видишь — и ее считаю своею тоже

*

какъ будто бы она всю жизнь прожила на моихъ глазьхъ. Правду говоря, оставивъ васъ, я не разъ вспоминалъ эту голубоглазую дикарку, представляя ее себѣ, тоненькую и граціозную, въ ея темномъ платьѣ, сидящею за мольбертомъ, улыбающеюся и счастливою, какою ее оставилъ въ вашемъ мирномъ уголкѣ. Я даже порывался писать ей, вызвать ее сюда, сказать ей, что она не въ правѣ зарывать таланта въ землю, что по этому обязательству и Богъ, и люди потребуютъ отъ нея большой уплаты впослѣдствіи, но всякій разъ меня невольно останавливалъ страхъ расшевелить этотъ такъ плотно, прочно и стройно сложившійся вокругъ нея строй вашей строгой и, если хочешь, полной жизни. Но разъ ея бабушки нѣтъ, разъ эта связь ея молодости съ вашимъ отрицаніемъ «здѣ пребывающаго града» (такъ кажется?) разорвана— ничего лучшаго ты не могла и придумать, какъ написать ко мнѣ. «Уложи ее», запакуй, свяжи и отправь на желѣзную дорогу. Когда въ Москвѣ она пріѣдетъ въ вокзалъ, пусть телеграфируетъ мнѣ немедленно, съ какимъ поѣздомъ отправляется въ Петербургъ, и я ее встрѣчу. Иначе она растеряется. Увѣрь ее, чтобы она ничего не боялась и ничему не удивлялась. Я постараюсь облегчить ей первые моменты знакомства съ новымъ міромъ и новыми людьми, пристрою ее, найду ей все, что надо, и впредь буду ей полезенъ. Въ средствахъ она не нуждается. Годъ-два поработаетъ здѣсь, а тамъ поѣдетъ въ Италію. Впрочемъ, что загадывать: будь, что будетъ, а будетъ, что Богъ велитъ, слѣдовательно, и толковать нечего»...

— Это у васъ отъ кого?—послышалось Вѣрочкѣ.

Она съ удивленіемъ подняла глаза.

— Что вамъ угодно?

Глупое и сладкое лицо юноши смотрѣло на нее съ ревнивымъ любопытствомъ.

— Письмо?

— Да, письмо... Развѣ вы не видите?

— А вамъ разрѣшается... письма-то?

— Кому намъ?

— Монахинямъ.

— Да я не монахиня совсѣмъ!—улыбнулась она, довѣрчиво глядя большими голубыми глазами на теряющагося юнца.

Она еще не выучилась осторожности въ сношеніяхъ съ людьми.

— Какъ не монахиня, а ваше платье?

— Не монашеское... Я выросла только въ монастырѣ.

— А я думалъ такая молодая... хоро... — онъ запнулся,—и уже... Даже странно... У васъ есть знакомые въ Петербургѣ?—окончилъ онъ, совсѣмъ замирая.

— Есть,—спокойно отвѣчала она.

«Какой смѣшной!» думалось дѣвушкѣ.

— Кто такіе?

— Рядновъ.

— Это не знаменитый художникъ?

— Онъ самый.

— Вотъ какъ!.. А то я... вотъ моя карточка... если что—все-съ... я съ удовольствіемъ.

Вѣрочка взяла, повертѣла карточку, съ недоумѣніемъ глядя на собесѣдника.

— Зачѣмъ это мнѣ?

— Ну, тамъ, знаете, можетъ быть, понадобится... Вы однѣ въ цѣломъ городѣ...

— Благодарю васъ!—просто замѣтила она и, не желая обижать юношу, спрятала его карточку. Тотъ разомъ ободрился.

— Потому, знаете, Петербургъ это лѣсъ вѣдь. Туда страшно. Смотря на кого еще нападешь... Другой бы на моемъ мѣстѣ... а я съ полной деликатностію... Помилуйте. Теперь вотъ вы, напримѣръ, по добротѣ, а есть такіе, которые вообразятъ, что...

И юноша совсѣмъ запутался и захлопалъ глазами.

— Что вообразятъ?

— Ну, тамъ, знаете... разное... И въ газетахъ даже сколько разъ приходилось читать... Оно тоже вѣдь... какъ на кого наткнешься... Сколько вамъ лѣтъ?

— Девятнадцать...

— Вы совсѣмъ въ Петербургъ?

— Да, по крайней мѣрѣ надолго.

— Будемъ знакомы! У меня папаша съ мамашей домъ свой имѣютъ на Гороховой... Вы что же жить будете въ Петербургѣ? То есть... не то... учиться, что ли, или такъ?

— Да, учиться живописи.

— У Ряднова?

— У него.

— Экій счастливецъ этотъ Рядновъ!.. Хорошо, право, ему.

— Да, его всѣ знаютъ...

— Нѣтъ, не потому... а вотъ вы...

— Я васъ не понимаю.

— Помилуйте, что тутъ непонятнаго,—и юноша покраснѣлъ, — ему-то, Ряднову, отлично. Такая ученица хорошенькая!

Вспыхнула Вѣрочка, но тотчасъ засмѣялась.

— Ну, онъ не изъ такихъ, онъ серьезный.

— Знаемъ мы этихъ художниковъ... всѣ они серьезны.. Нѣтъ, право, я вамъ визитъ сдѣлаю.

— Зачѣмъ это?—нахмурилась Вѣрочка.

— Я безъ дурной цѣли,—заторопился онъ,—я, если хотите, даже съ мамашей. Она все, о чемъ я попрошу...

На станціяхъ Вѣрочку оглядывали любопытные, заговаривали съ нею, но совсѣмъ не такъ застѣнчиво, какъ этотъ юнецъ. Какой-то тонкій, какъ спаржа, и зеленый совсѣмъ, со стеклышкомъ въ глазу, пассажиръ подсѣлъ къ ней, потянулъ носомъ и, прищурившись, замѣтилъ:

— Какъ вы не боитесь?

— Чего?

— Ѣхать одной. Помилуйте, мало ли нахаловъ!

Вѣрочка молчала.

— Какая вы кокетка! Какъ хорошо разсчитанъ этотъ черный платокъ на вашихъ волосахъ... Вы Золя читали?

— Что такое?—не поняла она.

— Нану Золя читали? Прекрасная книга и даже нрав-

ственная... Римскій папа на что ужъ,—и тотъ одобрилъ... Хотите я вамъ дамъ?.. Или, если вы желаете, пожалуйте ко мнѣ въ купе, я вамъ въ слухъ самъ читать буду. И вамъ удобнѣе, чѣмъ во второмъ классѣ сидѣть. У меня—въ первомъ.

— Благодарю васъ, мнѣ не надо... Я привыкла одна и читаю всегда сама. Со мною есть книги...

Едва-едва удалось развязаться ей съ этимъ господиномъ. Она больше уже и не выходила изъ своего уголка, радуясь, что судьба послала ей другого спутника, все краснѣвшаго, конфузившагося и путавшагося. Этотъ по крайней мѣрѣ не былъ страшенъ... Она пошла было въ дамское купе, но тамъ были дѣти. Окна были затворены, и Вѣрочка чуть не задохнулась. Поневолѣ вернулась назадъ. Подъ самымъ Петербургомъ лицо юноши изъ сладкаго и глупаго сдѣлалось глупымъ и печальнымъ...

— Вотъ мы сейчасъ простимся и, можетъ быть, больше не увидимся!

— Ну, такъ что-же?

— Вамъ-то легко... вамъ все равно...

— А вамъ?

— Ну, не скажите... Знаете... знаете... достаточно разъ увидѣть... а впрочемъ...

И онъ, покраснѣвъ, уткнулся въ окно.

На первыхъ порахъ міръ не показался ей такъ ужасенъ, какъ она себѣ воображала иногда. Чуждо, но ничего, что бы ее пугало, въ немъ пока не было. На станціяхъ суетились люди, стоялъ безпорядочный говоръ, одинъ бѣжалъ въ одну, другой въ другую сторону, какія-то растерянныя женщины съ узлами тормошились и суетились, пока кондукторъ не вталкивалъ ихъ, куда слѣдуетъ, но ничего поражающаго не было. У нея, привыкшей къ спокойному обиходу обители, только голова немного кружилась отъ всей этой кутерьмы кругомъ, тѣмъ не менѣе, она съ любопытствомъ всматривалась, часто вовсе не понимая, о чемъ хлопочутъ и куда стремятся.

Но когда вдали блеснулъ куполъ Исаакія, и показался

Петербургъ, дѣвушка растерялась. Ей казалось, что на нее надвигается оттуда что-то страшное, громадное, непонятное, которое, какъ разъ захватитъ, такъ ужъ не отпуститъ больше. Ей сдѣлалось жутко, такъ жутко, что она каялась, зачѣмъ поѣхала, зачѣмъ не осталась среди родной ей тишины и покоя... Кругомъ заторопились и засуетились. Юноша застегивалъ свой чемоданъ, другіе перетягивали пледы, лихорадочное ожиданіе чего-то росло и сообщалось ей...

— Газеты, сегодняшнія газеты!—кричалъ ей въ ухо разносчикъ, пробравшійся въ вагонъ.—Любопытное убійство въ Щербаковомъ переулкѣ. Оченно интереспо.

— Вашъ билетъ! — остановился передъ нею кондукторъ.—Господа, ваши билеты!..

— Не нуженъ ли вамъ носильщикъ, я крикну... У васъ есть багажъ?—подслуживался юноша.

Но она рѣшительно ничего не могла сообразить. Подала билетъ, отказалась отъ носильщика, не понимая, что она дѣлаетъ и говоритъ... «Это вашъ саквояжъ?» спрашивали ее, — она отвѣчала нѣтъ, хотя саквояжъ былъ ея. Потомъ поѣздъ медленно вползъ въ сумракъ громаднаго, казавшагося ей безконечнымъ, сооруженія; она растерялась еще больше. Налѣво на панеляхъ стояла толпа людей,—она и не видала такихъ. Ей казалось, что тутъ тысячи лицъ. И эти лица будто смотрятъ на нее, и ей дѣлается и больно, и стыдно чего-то... Всѣ повскакали съ мѣстъ и двинулись къ выходу... Она сидѣла... Сердце билось съ невыносимой натугой. Вагонъ опустѣлъ... Толпа какъ будто клубится и спутывается и, одной волной смѣшавшись, катится тамъ за окномъ... Гулъ все ростетъ и ростетъ... Свѣтъ какой-то... Грохотъ, что-то громадное двигается, въ сторонѣ, должно быть.

— Наконецъ-то, я васъ отыскалъ! Что это вы забились сюда и не выходите?

Она подымаетъ глаза и видитъ вдали радостно улыбающагося ей Ряднова.

— Я ждалъ васъ, ждалъ... Ну, добро пожаловать...

И волосатая съ просѣдью голова наклоняется къ ней... Вѣрочка встала... Художникъ взялъ ее за руки и крѣпко пожалъ ихъ.

— Ну, ужъ я, знаете, по-родственному!—и онъ поцѣловалъ ее въ лобъ.—Вотъ такъ, отлично, что надумались. Добро пожаловать, добро пожаловать. Вы устали вѣрно?

— Нѣтъ, растерялась!—признается она.

— Еще бы не растеряться. Изъ монастыря да сюда прямо... Это ваши вещи?.. Носильщикъ!.. Гдѣ ваши квитанціи отъ багажа?.. Дайте ихъ сюда...

Какъ въ туманѣ, Вѣрочка исполняетъ все, чего отъ нея требуетъ Рядновъ, и выходитъ вмѣстѣ съ нимъ вонъ...

XXIII.

Бѣдную закружило даже, когда она со станціи вышла на Знаменскую площадь.

На первыхъ порахъ она не замѣтила ничего: ни Невскаго, пропадавшаго въ золотистомъ туманѣ солнечнаго освѣщенія, изъ котораго выдавалась въ самой глубинѣ картины только игла Адмиралтейства, ни людей, ни шумной площади, заставленной конками, гремящей колесами безчисленныхъ экипажей, площади съ свѣтлыми куполами церкви и громадными домами, какихъ еще никогда въ жизни ей не приходилось видѣть. Ей казалось, что откуда-то на нее налетѣла колоссальная волна, подхватила и несетъ далеко-далеко, заглушая ея голосъ, заставляя ее обмирать отъ новыхъ захватывавшихъ ей дыханіе, не дававшихъ минуты очнуться ощущеній. Она не обратила вниманія на поданную Ряднову коляску, и когда тотъ подсадилъ ее, она не замѣтила, какъ носильщики снесли и уложили туда багажъ. Лица, дома, фонарные столбы, экипажи, омнибусы, все это мелькало передъ ней, сливаясь во что-то общее, дикое ей, чего она, пожалуй бы, испугалась, еслибы могла разобраться со своими ощущеніями. Она, точно во снѣ, вспомнила бабушку и ея

разсказъ о вывѣскахъ. Вывѣски дѣйствительно направо и налѣво, спереди и позади шли какою-то одной не прекращавшеюся и все заслонившею полосою. Съ громкимъ звономъ налетали на нее и, казалось, хотѣли раздавить дѣвушку конки и уносились мимо, все такъ-же оглушительно звоня; толпа народу сновала во всѣ стороны, и Вѣрочка не понимала: какъ это они не сталкиваются и не разбиваются одни о другихъ, какъ враждебныя разгнѣванныя волны, при встрѣчѣ взбрасывающіяся вверхъ бѣлыми взмывами пѣны. Черезъ улицу показалась сѣрая однообразная масса солдатъ. Вѣрочка никогда не видѣла столько ихъ вмѣстѣ. Ряды за рядами шли. Впереди гремѣли барабаны, и какъ-то чудно и уже очень смѣшно свистали флейты... На штыкахъ искрилось солнце... Солдаты остались позади, и опять остановился экипажъ Рядова. Наперерѣзъ шли похороны... Тихо колыхались страусовыя перья наверху, медленно переступали лошади подъ черными траурными попонами, среди бѣлаго дня желтыми пятнами казались огни факельщиковъ. Серебряная парча гроба ярко горѣла, на ней рѣзко выдѣлялись длинные зеленые листья вѣнковъ... Позади — кареты... Смутно мелькнули заплаканныя и равнодушныя лица. Почему-то Вѣрочка вспомнила, какъ качалась со стороны въ сторону голова ея бабушки, когда въ открытомъ гробѣ переносили ее изъ домика въ монастырскую церковь, и какъ шаталась шедшая за нею мать Варлаама, которую вели подъ руки двѣ бѣлицы... Коляска повернула налѣво по Морской... Какая-то улица наперерѣзъ протянулась вправо и влѣво въ той же веселой золотистой дымкѣ, потомъ опять просторъ площади, уставленной дворцами, бронзовый всадникъ взвившійся вверхъ на могучей темной лошади, чахлая зелень небольшого сквера; громадная, подавляющая масса Исаакія, и пестрый швейцаръ, выскочившій изъ подъѣзда, и словно откуда-то съ высоты упавшее «пріѣхали» Рядова.

— Я вамъ нашелъ помѣщеніе по той-же лѣстницѣ, гдѣ живу самъ.

Она слушаетъ его, благодаритъ, но ничего не понимаетъ... Она не замѣчаетъ, съ какимъ изумленіемъ швейцаръ осматриваетъ ея костюмъ... Лѣстница, крытая пестрою «дорожкой», кажется ей великолѣпною, дверь, передъ которой они останавливаются—слишкомъ большою, коридоръ, куда входятъ—ужасно темнымъ, а комнатка, гдѣ, наконецъ, она садится въ кресло—такою высокою, такой высокою, что она сама, Вѣрочка, точно разомъ уменьшилась на половину и опять стала крошечною дѣвочкой... Ей чудится, что весь домикъ покойной бабушки умѣстился бы здѣсь...

— Ну, Марья Францовна распорядится, чтобы вамъ подали самоваръ, хлѣба, сливокъ и чаю, а я васъ пока оставлю придти въ себя,—смѣется Рядновъ.—Когда разберетесь со всѣмъ, и съ вещами, и съ впечатлѣніями, успокоитесь и отдохнете, тогда я приду къ вамъ, и мы потолкуемъ. А обѣдаемъ, разумѣется, у меня...

Вѣрочкѣ кажется, что она должна бы проводить его до дверей, но она совсѣмъ не можетъ встать съ кресла, точно отяжелѣла. Ей лѣнь двинуться, лѣнь подумать. Голова словно свинцомъ налилась... дѣвушка только осматривается. Обои свѣтлые съ какими-то золотистыми разводами. На окнахъ сквозятъ занавѣси бѣлыя. Все чисто, очевидно, для нея вымыто. Шторы полуспущены. Въ окно видна зелень сквера и за ней величавая темная масса мрачнаго собора... Посреди ея комнаты—большой мольбертъ. Неужели это Рядновъ позаботился о ней? Рядомъ столикъ, на которомъ палитра, кисти, ящикъ съ красками. Табуретъ около. У стѣны столъ, покрытый чистою скатертью. У другой—письменный. Какія-то книги на немъ... Кто-то стучится къ ней въ комнату.

— Аминь!—отвѣчаетъ она по привычкѣ и спохватывается, видя улыбающееся лицо какой-то дамы.

— Вѣра Николаевна?—спрашиваетъ та ее.

Дѣвушка, наконецъ, соображаетъ, что ей надо встать.

— Да... это я.

— Ну, познакомимтесь. Я хозяйка этой квартиры

Вамъ господинъ Рядновъ не говорилъ развѣ? Марія Францовна!

«Что-то нужно сказать ей?»—думаетъ Вѣрочка и вопросительно смотритъ на даму.

— Вы вѣрно очень устали съ дороги? – снисходительно улыбается та. — Отдохните, отдохните... Рядновъ такъ заботится о васъ. Говоритъ, что вы ему сестрой поручены. О дочери нельзя такъ думать!.. Вотъ и книги вчера привезли для васъ, Лермонтова, Пушкина, Майкова, Фета купилъ... Шекспира полное собраніе, Байрона... Свои картины повѣсилъ на стѣны...

Вѣрочка смотритъ: дѣйствительно—въ золоченыхъ рамахъ висятъ большія картины, но ей не до нихъ; она съ усиліемъ прислушивается къ болтовнѣ хозяйки.

— А спать вы будете вонъ въ той комнатѣ. Я, какъ могла, все вамъ устроила... Посмотрите.

Дѣвушка только теперь видитъ двери, растворенныя въ слѣдующую комнату.

— Пожалуйте сюда...

Она идетъ... Небольшая спальня. Окно завѣшано шторою. Обои темные. Простенькая кровать, столикъ около. Мраморный умывальникъ дальше. Такихъ не видывала еще Вѣрочка.

— Есть-ли вода? — заботливо спрашиваетъ Марія Францовна, жметъ ногой какую-то пружину, и, къ удивленію дѣвушки, сильная струя бьетъ изъ крана вверхъ. Она смотритъ, гдѣ образъ—его нѣтъ. Ей странно и чудно. Въ той комнатѣ тоже нѣтъ образовъ.

— Надо образа повѣсить.

— А у васъ есть съ вами?

— Да.

— Ну, потомъ мы это сдѣлаемъ все...

Въ комнатѣ рядомъ, двери въ которую были замаскированы портьерами, слышатся звуки рояля.

— Это у васъ сосѣдка... Консерваторка одна...

— Что такое консерваторка?

Марія Францовна съ удивленіемъ смотритъ на нее.

Откуда такая дикая выискалась? Объясняетъ, но какъ Вѣрочка ни напрягаетъ слуха, ни усиливается сообразить—ничего понять не можетъ... Когда хозяйка, наконецъ, ушла, оставивъ ее одну—дѣвушка вдругъ расплакалась сама не зная чего.

Такъ ее застала и горничная съ самоваромъ.

— Устали вѣрно?—сочувственно говоритъ ей та.— Съ дороги...

Потомъ, замѣчая костюмъ дѣвушки, недоумѣло качаетъ головой.

«Не изъ монастыря-ли сбѣжала?» — думаетъ. «Отъ чувствъ это бываетъ... Отъ чувствъ бываетъ все... Какой-нибудь покрутился около, ну, она изъ-за подлеца и ума рѣшимши... Дѣла!»

Когда часа черезъ два Рядновъ вошелъ сюда—Вѣрочка, одѣтая, крѣпко спала въ креслѣ передъ чаемъ, котораго она не пила, и самоваромъ, выкипѣвшимъ и меланхолически замолчавшимъ наконецъ...

XXIV.

Черезъ двѣ недѣли, освоившись со всѣмъ ее окружавшимъ, Вѣрочка только улыбалась, вспоминая свое тогдашнее положеніе. Что-то близкое къ чувству умиленія вызывалъ въ ней Рядновъ, съ такою тонкою деликатностью заботившійся о ней, предупреждавшій всякое еще смутное ея желаніе и подсказывавшій ей то, что она должна дѣлать. Ни однимъ словомъ не намекнулъ ей художникъ на ея странный для Петербурга костюмъ, но когда она вышла съ нимъ вдвоемъ гулять—насмѣшливые или удивленные взгляды встрѣчавшихся сами открыли ей, насколько она потѣшна была полумонахинею среди этой разряженной и пестрой толпы... Марія Францовна оказалась тоже доброю женщиною. Она нѣсколько дней возилась съ Вѣрой Николаевной, сообщая ей разныя таинства женскаго туалета, доселѣ неизвѣстныя дѣвушкѣ. Съ однимъ корсетомъ сколько было возни, пока она выучилась но-

сить его! Платья, заказанныя у портнихи, должны были явиться только черезъ недѣлю—и всю эту недѣлю Вѣрочка предпочла просидѣть дома и не выходить никуда, послѣ неудачной прогулки съ художникомъ. Вечерами онъ приходилъ къ ней или она подымалась въ его квартиру—веселая, цвѣтущая, свѣжая, какъ только что раскрывшаяся почка, жадная къ теплу и свѣту, и наполнявшая, казалось, всю его мастерскую своимъ нѣжнымъ ароматомъ. Первый разъ, когда она вошла сюда, ее ослѣпила невиданная роскошь обстановки. Въ безпорядкѣ, окружавшемъ ее, въ этомъ миражѣ ковровъ, картинъ, статуй, парчи, какихъ-то шлемовъ, кольчугъ и щитовъ, оружія, книгъ, букетовъ, вазъ,—безпорядкѣ, требовавшемъ гораздо болѣе вкуса и обдуманности, чѣмъ самый строгій порядокъ,—было столько увлекающей красоты и изящества, что ея комната, на первыхъ порахъ казавшаяся ей такой роскошною, теперь являлась жалкою, голою, казарменною. Цѣлые часы она проводила въ глубокихъ креслахъ или на тахтѣ, крытой кавказскими коврами, прислушиваясь ко всему, что говорилъ ей Рядновъ объ искусствѣ, художникахъ, къ его воспоминаніямъ объ академіи и нѣсколькихъ поѣздкахъ за-границу. Отъ этого голоса, проникнутаго подкупающею искренностію, ее, казалось, охватывала какая-то истома. Она готова была цѣлые дни сидѣть и слушать, иногда полузакрывъ глаза и представляя себѣ въ-явь картины чужой природы, типы далекихъ людей, дивные остатки античнаго зодчества. Тишина стояла кругомъ. Сквозь плотно затворенныя и по вечерамъ тяжелыми темными гардинами прикрытыя окна шумъ съ улицы не проникалъ сюда. Свѣтъ лампъ мягко отражался на рамахъ, большихъ и малыхъ, покрывавшихъ почти всю стѣну. Въ ихъ золотѣ плохо различала она записанныя полотна, только изрѣдка какое-нибудь точно удивленное лицо выдѣлялось со стѣны и, наклоняясь, смотрѣло на нее, полоса золотистаго блеска ложилась на парчѣ, скомканной въ углу, на щиты и кольчуги, сталь которыхъ казалась еще мрачнѣе среди всей

этой окружавшей ихъ роскоши. За то тѣмъ ярче со столовъ свѣтились старинные кубки, венеціанское стекло, мозаики и инкрустаціи зеркалъ, Богъ вѣсть, гдѣ отысканные Рядновымъ въ его бродяжествѣ по бѣлу-свѣту. По мрамору камина шла арабская вязь, которая, казалось, то выступала, то пропадала въ сумракѣ. На софахъ и тахтахъ валялись пестрыя подушки; большіе альбомы, папки съ фотографіями и рисунками лежали тутъ же, и бѣдной Вѣрочкѣ, до сихъ поръ не видѣвшей ничего подобнаго, казалось, что во всемъ мірѣ Божіемъ нигдѣ нѣтъ такой роскоши и блеску... Днемъ она цѣлыми часами неподвижно высиживала здѣсь же, Рядновъ писалъ съ нею «монахиню-бѣлицу», и она охотно служила для него натурой... Остальную часть времени, пока было свѣтло, она работала у себя за мольбертомъ, копируя картины, доставлявшіяся ея учителемъ, внимательно прислушиваясь къ указаніямъ, торопливо и лихорадочно спѣша перенести ихъ скорѣе на полотно, точно для того, чтобы не забыть ихъ... Цѣлый новый міръ открывался передъ нею, міръ полный дивнаго блеска и несказанной прелести. Словно въ церкви голосъ священника—звучали ей слова Ряднова, когда онъ разсказывалъ ей о великихъ художникахъ, жившихъ давно и оставившихъ свои имена какъ завѣщанія потомству. Дивный міръ, за одинъ уголокъ котораго она бы отдала теперь все свое прежнее существованіе!.. Неужели она могла жить такъ, какъ жила, ничего не зная, ничего не понимая, среди тѣхъ простыхъ сердцемъ, безхитростныхъ монахинь, умѣвшихъ только любить и баловать ее?.. Мало-по-малу она узнавала, какую страшную борьбу выноситъ талантъ, прежде чѣмъ завоевываетъ себѣ положеніе, какія драмы бѣшенымъ ураганомъ врываются въ казавшуюся ей издали столь спокойною жизнь художника... И эта толпа, это общество, представлявшееся ей такимъ умнымъ, добрымъ, чуткимъ къ красотѣ и правдѣ, въ разсказахъ Ряднова являлось и злымъ, и своекорыстнымъ, и презрительнымъ, готовымъ унижать художника за каждую минуту, когда онъ по-

чиняетъ ихъ силою своего генія... Да, не такъ легка казалась ей теперь ея задача, но зато и побѣда будетъ радостнѣй и ея будущее свѣтлѣе. Рядновъ умѣлъ передать ей огонекъ своего вдохновенія, вызвать въ ея душѣ тѣ же боевые инстинкты, благодаря которымъ ему удалось завоевать эту толпу, покорить ее. Самая красота и правда, которымъ собиралась служить она, оказывались совсѣмъ иными, чѣмъ она предполагала. Путь художника чудился ей тоже своего рода «послушаніемъ», подвижничествомъ, но несравненно болѣе труднымъ и интереснымъ. Часто Рядновъ являлся къ ней недовольный, раздражительный...

— Что это съ вами?—спрашивала она

— Посмотрите на меня ясными глазками... Авось отойду.

— Случилось что нибудь?—заботливо спрашивала она, глядя въ его блѣдное лицо и лихорадочно загоравшіеся глаза.

— Новую картину задумываю... Вы не безпокойтесь. Это всегда такъ.

И она наблюдала за этими родовыми болями творчества, предшествовавшими каждой работѣ. Она и сама, мало-по-малу уходя въ свое дѣло, начинала чувствовать то же самое... Все окружающее не удовлетворяло ее, ни яркое солнце, ни голубое небо... Ни тепло лѣтняго дня, ни прелесть сѣверной ночи... Въ умѣ и въ сердцѣ копошилась зарождавшаяся идея—и всякій звукъ, образъ, всякое ощущеніе, казалось, служили ея воплощеніемъ, оттѣняли то одну, то другую ею сторону. Она переставала удивляться, когда посреди живого и увлекательнаго разсказа Рядновъ срывался съ мѣста, подходилъ къ столу и набрасывалъ что-то на память. Она сама пріучилась ловить и удерживать мимолетныя, казалось, случайно въ ея воображеніи проносившіеся образы, сочетанія, штрихи... Эти души будущихъ картинъ, эти ихъ сѣмена, обѣщавшія потомъ такую пышную жатву! . Въ первый же день, какъ было готово ея платье, Рядновъ повелъ дѣвушку

въ Эрмитажъ... Она не могла осилить новыхъ впечатлѣній... Осмотрѣвъ одну только залу, она поблѣднѣла и зашаталась. Рядновъ подхватилъ ее и усадилъ..

— Что съ вами?

— Слишкомъ сильно... О, какой это міръ, какъ хорошо все!.. И какъ себѣ самой жалка я со своими надеждами и попытками! Развѣ можно дойти до этого?

— Слава Богу, что у васъ проявилось это недовѣріе къ себѣ... Лучшее доказательство молодого таланта! Увѣренность придетъ потомъ: работайте, учитесь, думайте...

Но думать она не могла. Она смотрѣла, вся уходя въ эти полотна, раскрывавшія ей необъятый міръ наслажденія. Ей казалось, что она слѣдитъ за ихъ созданіемъ, за каждымъ ударомъ геніальной кисти, за каждымъ мазкомъ этихъ потускнѣвшихъ для толпы, но передъ Вѣрочкою выступившихъ во всей своей первоначальной прелести красокъ.

— Какъ хорошо! Какъ хорошо!—только и повторяла она.—Какъ они были счастливы, эти великіе мастера, оставившіе по себѣ такое наслѣдіе! Какъ они были счастливы!..

Слезы навертывались на ея глаза, слезы радостнаго восторга, слезы вѣрующей, увидѣвшей святыню...

Рядновъ только жалъ ея руки и улыбался.

— Да, вы—настоящая!.. У васъ есть то, что теперь такъ рѣдко и у талантливыхъ людей. У васъ есть энтузіазмъ, а значитъ и сила... Вы еще плачете передъ картинами... Богъ знаетъ, чего бы я не далъ за то, чтобы умѣть чувствовать такъ, какъ чувствуете вы!

Она забывалась и уходила въ свой восторгъ такъ, что когда наступалъ часъ оставлять залы сказочнаго міра, она точно просыпалась и съ удивленіемъ оглядывалась кругомъ...

— Уже? Пора?—говорила она съ сожалѣніемъ и, уходя, казалось еще ласкала взглядомъ всѣ эти дивныя дива...

XXV.

«Письма оттуда! Письма изъ дому!» Вѣдь, монастырь былъ для нея домомъ. Вѣрочка съ жадностью бросилась къ нимъ, запирала двери,—и когда Рядновъ стучался къ ней, она не пускала его къ себѣ.

— Вѣрно, вѣсти отъ бабушекъ?— смѣялся онъ ей.

— Да... Сейчасъ, только прочту!..

И она читала ихъ и перечитывала, потомъ, бродя изъ угла въ уголъ, представляла всѣхъ ихъ себѣ, думала, какъ часто онѣ вспоминаютъ о ней, говорятъ о «вѣтеркѣ», котораго изъ ихъ тихой и мирной пристани занесло, Богъ знаетъ, въ какую даль... Вотъ кривыя строки матери Варлаамы, одна на другую лѣзетъ, буквы сливаются—дрожитъ рука у старушки. Крупный почеркъ матери Серафимы, круглыя, сильныя буквы, какъ и она сама. Даже Степанида изъ-подъ воротъ—и та нацарапала ей что-то, что Вѣрочка разбираетъ скорѣе сердцемъ, чѣмъ глазами. Всѣ ее помнятъ, молятся за нее, желаютъ ей всѣхъ благъ, изобилія плодовъ земныхъ и благорастворенія воздуха. И когда начинаютъ звонить Исаакіевскіе соборные колокола, дѣвушкѣ кажется, что это на зло разстоянію, за тысячи верстъ долетаетъ къ ней звучное «здравствуй, родная», тѣхъ другихъ—изъ ея дорогой обители... Потомъ она долго чувствуетъ себя радостною и возбужденною...

Въ одинъ изъ такихъ моментовъ, когда она «отперлась», къ ней вошелъ Рядновъ.

— Ну, что Вѣрочка (онъ ее звалъ по-старому), какъ вы думаете провести сегодня?

— Нынче я не работаю, дала себѣ отдыхъ.

— Отлично, я тоже. Знаете, отправимся обѣдать куда нибудь «dahin, dahin, wo die Citronen blühen».

— Это еще что?

— По-русски: туда, гдѣ лимонныя рощи цвѣтутъ, гдѣ въ яркихъ листахъ померанецъ, какъ золото, рдѣетъ.

— Развѣ это въ Петербургѣ?—наивно спросила дѣвушка

— Хотя и не совсѣмъ, но есть такіе уголки. Мы скромно. Сядемъ на пароходъ у Лѣтняго сада—и двинемся на острова. Я знаю тамъ ресторанчикъ... Для приличія, пожалуй, возьмемъ съ собой Марью Францовну.

— Для какого приличія?

И она широко раскрыла глаза.

— А чтобы не сказали чего-нибудь про насъ.

— Кто же сказать можетъ? Кому же какое дѣло? Поѣдемъ лучше вдвоемъ—право, веселѣе.

— Ну, такъ и быть по сему!

День былъ тихій и теплый. Небо голубѣло, хоть бы и не въ Петербургѣ! Нева какъ будто стояла. Дымъ отъ фабрикъ уносился въ высоту столбами, порою мимо плыли пароходы, оставлявшіе позади серебряную полосу. Жалкая и чахлая зелень сегодня смотрѣла празднично и ярко, праздничны и веселы были и лица ѣхавшихъ съ Вѣрочкой пассажировъ. Теперь бы ее не «узнали» старушки-бабушки—черное кашемировое платье плотно обтягивало ея станъ, простенькая шляпка очень шла къ ея наивному, радостному личику. Она уронила платокъ и не замѣтила. Сидѣвшій напротивъ старичокъ поднялъ и передалъ его Ряднову.

— Ваша дочь потеряла...

— Какая дочь?

И Рядновъ вспыхнулъ. Вспыхнулъ и потомъ засмѣялся. Только какъ-то насильно, «не повзаправдашнему» соображала Вѣрочка. Засмѣялась и она, и чего-то ей стало стыдно и жутко... Она взглянула на Ряднова, тотъ сидитъ, нахмурясь. Странное дѣло, ему было непріятно, что его считаютъ такимъ старымъ, а его ученицу—такою молодою. На душѣ тучкой пробѣжало сожалѣніе объ утраченной молодости; онъ съ болѣзненнымъ чувствомъ подумалъ, какъ бы хорошо было, еслибъ ему не стукнуло уже сорока лѣтъ, а ей не было только девятнадцать... Отбавить бы отъ него и прибавить ей... Онъ задумался

смотря исподтишка на свѣжее личико Вѣрочки. Яркій и густой румянецъ свободно ложился по его нѣжной бѣлизнѣ. Длинныя рѣсницы придавали необыкновенную прелесть ея большимъ голубымъ глазамъ. Что-то не прежнее свѣтилось въ нихъ. Не было того наивнаго удивленія, съ какимъ еще недавно они открывались на весь Божій міръ. Теперь они смотрѣли вдумчиво—по «его. Рядновскому рецепту» слѣдили за всѣмъ, что творилось кругомъ, ловили трудно замѣчаемыя черточки красоты, и когда она опускала внизъ рѣсницы—Рядновъ догадывался, что она переживаетъ въ самой себѣ, записываетъ въ памяти свои наблюденія... Двѣ толстыя косы позади, длинныя, того золотого цвѣта, на который, какъ нѣсколько разъ замѣчалъ онъ, съ такою завистью посматривали проходившія мимо дамы...

— Ну, дочка!—принудилъ онъ себя пошутить, хотя правду сказать съ очень кислымъ выраженіемъ лица.— Ну, дочка, пріѣхали...

Они вышли въ Новой деревнѣ и сейчасъ же сѣли въ лодку, которая доставила ихъ на другой берегъ рѣки въ небольшой ресторанчикъ, стоявшій тамъ у самой воды. Тутъ на воздухѣ были раскинуты столики. Пока никого не было, Рядновъ съ дѣвушкой заняли одинъ изъ такихъ и ждали обѣда, любуясь игрою солнца въ водѣ, отраженіемъ въ ней противоположнаго берега и слѣдами, долго остававшимися на поверхности рѣки отъ пароходовъ, подымавшихся вверхъ и спускавшихся внизъ мимо.

— Хорошо!

— Жалка эта природа! — съ нѣкоторымъ уныніемъ проговорилъ Рядновъ.—Меня никогда такъ не тянуло въ Италію, какъ теперь... Только васъ не хочется бросить здѣсь.

— Зачѣмъ же бросать?—наивно спросила дѣвушка.

— То-есть какъ это зачѣмъ?

— Я съ вами поѣду. Вы сами говорили, что это мнѣ необходимо. Вѣдь у меня хватитъ средствъ на это?

— Вотъ тебѣ и на!.. А что скажутъ?

— Кто?

— Ну, да всѣ знающіе меня, тѣ, которыхъ я познакомилъ съ вами.

— А пусть себѣ говорятъ, что хотятъ.

— Какъ такъ?

— Развѣ мнѣ не все равно? Ну,—засмѣялась она,—станутъ думать, что вы повезли дочку.

Его опять передернуло. Она замѣтила и удивилась.

— Что... вы не хорошо себя чувствуете?

— Нѣтъ, такъ... Глупости это все.

— А-а-а! Александръ Петровичъ! — послышалось въ дверяхъ ресторана.—И Вѣра Николаевна здѣсь! Отлично... Вы меня не прогоните?

Рядновъ обрадовался даже. Ему въ эти именно минуты почему-то хотѣлось присутствія третьяго между ними... Вѣра тоже привѣтливо улыбнулась пришедшему.

— Ну что,—шутилъ тотъ,—не скоро еще собираетесь наши грѣхи замаливать—подъ черную шапку?

— Это въ монастырь? А вотъ сначала вы схимникомъ сдѣлайтесь.

— Долго же вамъ ждать придется.

Новый ея знакомый и прежде былъ ей извѣстенъ по имени. Молодой писатель, Сергѣй Никаноровичъ Дороцкій часто посѣщалъ мастерскую Ряднова, гдѣ художникъ представилъ его ученицѣ. Она произвела впрочемъ такое сильное впечатлѣніе на его сердце, что онъ готовъ былъ уже теперь записать ее въ великіе геніи. Сначала Александръ Петровичъ думалъ, что Дороцкій затронетъ сердце дѣвушки, но она оставалась совершенно равнодушною къ красивому поэту, страстно читавшему ей свои стихотворенія и увы! совершенно тщетно.

— Вамъ нравится Дороцкій?—спросилъ ее разъ Рядновъ.

— Да...—съ недоумѣніемъ отвѣтила она, словно давая себѣ отчетъ, нравится онъ ей или нѣтъ.

— Правда, онъ очень симпатиченъ?..

— Чѣмъ это?.. То есть—если хотите... Я не думала еще объ этомъ.

— Эге!—весело рѣшилъ Рядновъ.—Да я вижу, что моя ученица совсѣмъ мраморная. Только для одного искусства раскрывается и бьется ея маленькое сердчишко... Оно такъ и слѣдуетъ. Сначала дѣло, а потомъ личное счастье.

— Какое личное счастье?

— Ну, любовь что-ли.

— Ахъ, это что въ романахъ?—такъ простодушно проговорила дѣвушка, что Рядновъ готовъ былъ расцѣловать ее въ эту минуту.—Я объ этомъ еще не думала. Да и Дороцкій какой-то странный вѣдь.

— Чѣмъ это?..—все больше и больше радовался ея учитель.

— Точно онъ не настоящій.

— Ну, теперь ужъ и я васъ не понимаю.

— Не настоящій, не всамомдѣлишній. Я, право, не умѣю разсказать. Такъ онъ и говоритъ не по-настоящему... Стихи часто декламируетъ и жмурится при этомъ, точно котъ... Потомъ все о себѣ да о себѣ разсказываетъ... Не такой онъ, какъ вы.

— Вы это что же всѣхъ хотите на меня примѣрять? Этакъ нельзя. Характеры и типы разнообразны.

А на самомъ дѣлѣ онъ былъ очень радъ этому.

— Ну, что, все работаете?—обратился на этотъ разъ Рядновъ къ Дороцкому.

— Да... Строчками вѣдь живемъ... Ну, и надо...

— Что же вы нынче дѣлаете, чѣмъ собираетесь насъ подарить?

— Такъ, пустяки.—И Дороцкій эфектно взбилъ себѣ волосы.—Романъ въ стихахъ—и знаю, достанется мнѣ за него жестоко. Ну, да объ этомъ что!.. А вотъ я все на Вѣру Николаевну любуюсь... Первую героиню свою съ васъ спишу. Жаль только...

И онъ запнулся.

— Чего жаль?—спросилъ его художникъ, любуясь нѣсколько смутившеюся дѣвушкой.

— Нѣтъ еще Пигмаліона, который бы вдохнулъ душу живу въ нашу Галатею.

— Вотъ тебѣ и на! Да развѣ я не живая?

— Разумѣется, нѣтъ.

— Какъ это?

— Еще бы!.. По вашему это значитъ жить?.. Для женщинъ жить—синонимъ глагола любить... А вы любили кого?

— Я всѣхъ люблю,—совершенно искренно отвѣтила та.

— Ну, вотъ это-то и скверно, что всѣхъ. Нужно одного полюбить да во всю, такъ чтобы чувство это свѣтъ заслонило, чтобы изъ-за него не видѣть ничего.

Дороцкій приводилъ себя все въ большее и большее возбужденіе.

— Знаете-ли, что значитъ любить? Скажи мнѣ любимая женщина: «Дороцкій, спрыгни съ четвертаго этажа»—и я спрыгну.

— Зачѣмъ это? И какая глупая можетъ сказать это?.. И этажи здѣсь при чемъ же?

— Доказательство, Вѣра Николаевна. Надо всѣми порами организма любить, вездѣ и во всемъ только и видѣть любимое существо, дышать тѣмъ воздухомъ, какимъ она дышетъ... люди, способные любить такъ—родятся, какъ родятся поэтами. Да что, впрочемъ... Это у меня выражено въ одномъ моемъ стихотвореніи.

И, не ожидая приглашенія, онъ началъ декламировать съ такимъ дѣланнымъ пафосомъ, что Вѣрѣ Николаевнѣ почему-то стало совѣстно—и она, скользнувъ взглядомъ по лицу Ряднова, потупилась.

А Дороцкій уже захлебывался:

Но ты мнѣ встрѣтилась, и людямъ сталъ я братомъ!
Еще ребенкомъ ты пахнула на меня
Весеннихъ ландышей манящимъ ароматомъ.
Я сталъ передъ тобой, колѣна преклоня.

Сложилъ тебѣ алтарь, и на него взошла ты;
Какъ жрецъ передъ тобой молитвы я читалъ.
Заржавѣлъ мечъ бойца.. Въ пыли забыты латы—
Я жилъ одной тобой... Одной тобой дышалъ.

Дышалъ тѣмъ воздухомъ, которымъ ты дышала;
Стремился разгадать случайный каждый взглядъ;
Готовъ былъ цѣловать тотъ прахъ, гдѣ ты ступала;
Создалъ себѣ кумиръ, изъ жизни сдѣлалъ адъ;

Но этотъ адъ любви мнѣ былъ дороже рая!.

И такъ далѣе знаете...

— Развѣ вы носили когда-нибудь латы? —съ недоумѣніемъ подняла на него глаза свои дѣвушка.

Рядновъ расхохотался.

— Я развѣ какую нибудь глупость сказала?

— О, нѣтъ... нѣтъ...

Снисходительно улыбался и поэтъ.

— Нѣтъ, разумѣется. Вы еще не привыкли. Мы, поэты, выражаемъ наши чувства образами. Но какъ вамъ нравятся эти стихи?.. Только правду...

— Я всегда говорю правду.

— Такъ какже?

— Вы говорите о кумирѣ, о томъ, что вы его на алтарь поставили... А развѣ забыли что сказано: не сотвори себѣ кумира?..

Рядновъ развеселился окончательно. Дороцкій пожалъ плечами и съ сожалѣніемъ посмотрѣлъ на Вѣрочку.

— Экъ въ васъ закваска сидитъ эта, монастырская! Что же высказали бы вотъ про это стихотвореніе?

Александръ Петровичъ пришелъ было въ ужасъ...

— Стаканъ вина, Сергѣй Никаноровичъ...—хотѣлъ было онъ отвести отъ себя ливень стиховъ, но, увы! поэтъ уже сѣлъ на своего пегаса, далъ ему шпоры и, страстно глядя на дѣвушку, началъ:

Твоя любовь—въ порывахъ страсти,
Ея волненья—безъ конца.
Она заманчивѣе власти
И ярче царскаго вѣнца.

Когда-бъ сокровища вселенной
Мнѣ были посланы судьбой,
Я здѣсь остался-бъ неизмѣнный,
Пошелъ бы нищимъ—за тобой!..

И, сбросивъ царскую порфиру,
Челомъ, украшеннымъ вѣнцомъ,
Склонился-бъ я на диво міру
Передъ тобой, простымъ рабомъ...

Когда-бъ на небѣ былъ я Богомъ,
Оставивъ ангеловъ своихъ,
Сошелъ бы я къ земнымъ тревогамъ
Найти свой рай—у ногъ твоихъ.

И какъ будто не совладѣвъ съ внезапно охватившимъ его порывомъ, Сергѣй Никаноровичъ наклонился, схватилъ руку Вѣрочки и прижалъ ее къ своимъ губамъ.

— Что вы?.. Что вы?..—растерялась та.—Сергѣй Никаноровичъ, съ чего вы это, за что?

Рядновъ тоже нахмурился.

— Простите, мы, поэты, ничего не умѣемъ дѣлать вполовину—намъ извинительно многое, что для другихъ...

— Ну, довольно!—морщился художникъ.—Вы напрасно только смущаете Вѣрочку... Она не привыкла...

— О, вы должны, напротивъ, быть предметомъ общаго поклоненія...

Неизвѣстно, до чего бы дошло. На глазахъ у дѣвушки стояли уже слезы, да, къ счастію, одно изъ оконъ ресторана отворилось, и въ немъ показалось раскраснѣвшееся лицо молодого офицера.

— Э! Дорогкій!.. Шутъ гороховый!.. Ты здѣсь?.. Ступай сюда... Скорѣе... Тебя только недостаетъ...

— Князь Ахалъ-Текинцевъ!—шопотомъ сообщилъ поэтъ Ряднову и Вѣрочкѣ, и точно успокоивая ихъ:—Я сейчасъ-сейчасъ...—ушелъ въ ресторанъ.

— Ну, что вы скажете, Вѣра?...—спросилъ ее Рядновъ.

— Не, знаю, право... У бабушки у моей, у настоящей,—пояснила она,—пѣтухъ такой былъ. Мы его всѣ звали почему-то «Киръ-царь-Персидскій». Онъ никогда не опускалъ перьевъ, а цѣлые дни ходилъ встопорщенный и хвостъ вѣеромъ держалъ и поминутно взлеталъ на заборъ—орать оттуда другимъ пѣтухамъ что-то особенное. Мнѣ... вы знаете, осуждать вѣдь грѣшно... но, право, мнѣ Сергѣй Никаноровичъ этого пѣтуха напоминаетъ.

— Вотъ за это сравненіе дома и я вамъ ручки расцѣлую.

— Зачѣмъ?

— Ужъ очень я доволенъ вами. Какъ вы въ простотѣ своей душевной опредѣлили нашего пріятеля! Такъ я его теперь и буду звать «Киръ-царь-Персидскій».

Они не дождались, впрочемъ, возвращенія «Кира-царя-Персидскаго», а, сѣвъ въ лодку, отправились на противоположный берегъ рѣки, къ пароходной пристани.

XXVI.

— Что же, ко мнѣ чай пить?—нерѣшительно спросилъ ее Рядновъ разъ послѣ такой же поѣздки за городъ.

За послѣднее время они часто ѣздили вдвоемъ.

Не понимая самъ почему—теперь онъ стѣснялся съ нею гораздо болѣе, чѣмъ прежде. Точно между ними прошло что-то отнявшее отеческую искренность у одного и безтревожную привязанность у другой. Прежде бы онъ не задалъ даже такого вопроса, а просто, поднимаясь къ себѣ, крикнулъ бы ей прямо: «Вѣрочка, жду васъ—чай пить. Не задержите, а то мой Семенъ браниться будетъ. Вы знаете, онъ вѣдь строгій. Смотрите!» А теперь «Вѣрочка» все чаще и чаще смѣнялась «Вѣрой Николаевной», и она уже не такъ рѣшительно какъ во время оно шла къ нему наверхъ и звонила у его дверей, чего-то краснѣя, когда дѣйствительно суровый нелюдимъ Семенъ, большой знатокъ «прологовъ» и всякихъ «житій», отворялъ ей съ своимъ отрывистымъ, точно чего-то не одобряющимъ: «пожалуйте...»

— Что же, ко мнѣ чай пить?

— Да, я сейчасъ. Только не надоѣмъ ли вамъ слишкомъ?

Тогда, прежде, она бы не спросила объ этомъ...

— Нѣтъ, разумѣется...

Придя къ себѣ и не снимая накидки, она подошла къ окну и прижалась горячимъ лбомъ къ его холодному стеклу. За нимъ въ скверѣ—толпился народъ, играли дѣти, сидѣли на скамьяхъ, подобно каменнымъ изваяніямъ, неподвижныя няньки. Налѣво темнокрасныя колонны Исаакія, вся его мрачная и величавая масса съ черными ангелами вверху, раскинувшими черныя крылья, съ золотымъ громаднымъ куполомъ, такъ красиво рисовавшимся

на безоблачномъ сегодня небѣ... Но она не видѣла ничего. Она только смотрѣла внутрь, въ свою душу, сама не понимая, что съ нею дѣлается, и уже не ощущая въ себѣ ни прежней тишины, ни прежняго равновѣсія... То ей было чего-то стыдно, то тянуло къ чему-то, къ чему— она сама не могла бы сказать.

«Жить, жить и любить надо!» вспомнилась ей высокопарная фраза Кира-царя-Персидскаго... И она улыбнулась даже: такъ уморительна показалась ей въ эту именно минуту взъерошенная фигура поэта, читающаго стихи о томъ, что онъ желалъ бы быть на небесахъ Богомъ только для того, чтобы сейчасъ же опять спуститься на землю и склониться къ ея ногамъ... И вдругъ въ ея головѣ пронеслось: «а вѣдь Александръ Петровичъ обрадовался, когда я засмѣялась надъ Дороцкимъ... И вѣдь какъ обрадовался— точно я его избавила отъ какихъ-то сомнѣній... Значитъ, онъ смотрѣлъ на него серьезнѣе, если думалъ, что я могу обратить болѣе вниманія на этого пѣтуха... Странно!»

И она, сама не зная почему, покраснѣла.

Въ дверь къ ней постучали. Вошла Марья Францовна, какъ всегда веселая, улыбающаяся, болтливая.

— Здравствуйте, здравствуйте, отшельница, а я къ вамъ съ тонкимъ порученіемъ... Вы знаете, у меня угловое отдѣленіе занялъ этотъ пріѣзжій кіевскій помѣщикъ... Красинскій. Молодъ, богачъ, сахароваръ... Ну, такъ онъ видѣлъ васъ—и въ восторгѣ.. Спрашиваетъ: не продаете ли вы своихъ картинъ... Разумѣется, ему хочется только познакомиться съ вами... «Если, говоритъ, нѣтъ у нея ничего готоваго—я бы хотѣлъ заказать ей копію съ Мадонны Мурильевской, что въ Эрмитажѣ. Заплачу, сколько ей будетъ угодно»... Вотъ бы вамъ-женихъ. Образованный, все время заграницей жилъ и такъ понимаетъ, такъ понимаетъ искусство!.. У меня ужъ тутъ въ прошломъ году двѣ свадьбы было. Могу сказать—я ихъ и устроила. Что дѣлать! Надо признаться, страсть моя— выдавать замужъ. Мнѣ бы, знаете, не комнаты держать, а свахой быть, право... Одного подтолкнешь, другую

ободришь—смотришь: и готово дѣло. А этотъ Красинскій про васъ-то говоритъ. «она сама картинка. Такую я бы съ удовольствіемъ помѣстилъ у себя въ сердцѣ...» Что же, пошли бы замужъ?

— Благодарю васъ,—сухо обрѣзала Вѣрочка, — я не собираюсь...

— Это въ васъ еще монашеское сидитъ... Монастырское!—не обращала вниманія словоохотливая хозяйка.— Вы только познакомьтесь съ нимъ...

— Знакомиться не хочу... Зачѣмъ?

— Ни малѣйшаго желанія?—обращала по своему обыкновенію все въ шутку Марья Францовна.

— Да.

— Ну, такъ я знаю почему это.

Вѣрочка не отвѣтила ей ни слова.

— Знаю, знаю... и вы знаете...

— Что еще?..

— А то, что скоро свадьба будетъ... Разумѣется, не Красинскаго...

Марья Францовна подошла къ ней близко-близко и прямо къ лицу ея наклонилась смѣющаяся, съ тѣмъ задорнымъ выраженіемъ, которое всегда поневолѣ заставляло улыбаться и Вѣрочку.

— Выдумали опять что-нибудь?

— Нѣтъ, не выдумала. Съ какой стати мнѣ выдумывать! Глаза есть—и славу Богу! Вижу...

— Что вы видите?

— Правда, онъ староватъ для васъ... Ну, да со старичками-то покойнѣе... Опять же учитель. Чувство признательности. Ну, что же, я все-таки рада... рада.

— Да о чемъ вы это?—вся покраснѣла и вздрогнула Вѣра.

— Чего вы притворяетесь?.. Или еще ни до чего не договорились? Не дѣлайте большіе глаза — они у васъ и безъ того велики... Я вамъ предсказываю (перехожу для васъ только на амплуа гадалокъ), скоро вы будете называться m-me Ряднова.

Дѣвушка вскочила съ мѣста и лихорадочно прошлась по комнатѣ.

— Какія глупости!

— Хотите пари?..

— Говорю вамъ, глупости...

— Ну, Богъ съ вами... Прощайте, пойду утѣшать бѣднягу Красинскаго!

Что съ нею дѣлалось въ эти минуты—Вѣра едва ли могла дать себѣ отчетъ. Ей отчего-то было и смѣшно, и что-то новое, незнакомое, бурнымъ приливомъ поднималось въ ея душѣ. Она вспомнила совѣтъ матери Варлаамы, благо ея портретъ попался ей въ эту минуту: «найдетъ на тебя смятеніе духа — стань на колѣна и помолись... Богъ всему научитъ! Лучшаго совѣтника не будетъ»... Она дѣйствительно опустилась у окна. Въ этомъ положеніи ей былъ виденъ крестъ собора... Хотѣла молиться, но слова молитвы были только на устахъ, ничѣмъ не отзываясь въ ея взволнованой душѣ... Въ головѣ тоже словно шумѣло что-то, кружило ее. Она оставалась такъ, положивъ голову на подоконникъ, какъ вдругъ кто-то стукнулъ въ ея двери. Она только что успѣла вскочить съ мѣста...

— А я ждалъ-ждалъ васъ, да и зашелъ за вами...

— Я сейчасъ, сейчасъ. — Почему-то она не могла смотрѣть теперь прямо въ глаза Ряднову.—Я, Александръ Петровичъ, сейчасъ.

— Да вы не торопитесь,—усмѣхнулся онъ.—Или вы моего Семена боитесь?..

Она пошла къ себѣ въ спальню, пригладила волосы, на одну секунду замерла, думая о чемъ-то; потомъ встряхнувъ головой, точно отгоняя отъ себя безотвязную мысль, вернулась назадъ.

— Ну, я теперь готова... Пойдемте...

«Онъ старъ для васъ», пронеслись въ ея памяти слова хозяйки... Она искоса посмотрѣла на Ряднова. «Въ чемъ это она замѣтила его старость? Правда, сѣдина въ волосахъ и бородѣ... Но это не портитъ его нисколько. На-

противъ»... Поймала себя на этой мысли, и вся застыдившаяся и еще болѣе смущенная, опустила голову внизъ, поднимаясь по лѣстницѣ. Войдя къ нему, Вѣра вся точно застыла, свернувшись въ уголку тахты, своемъ любимомъ мѣстечкѣ. Почему-то у ней промелькнула мысль: что если бы она увидѣла здѣсь — на этой самой тахтѣ — другую женщину? И болѣзненное чувство закралось въ ея душу.

— Чего это вы запоздали?—машинально спросилъ ее Рядновъ, чтобы не продолжать далѣе это неловкое молчаніе.—Засталъ я васъ какою-то странною...

— Такъ, Марья Францовна задержала.

— Хорошая она!

— Да.

И вдругъ точно что осѣнило Вѣру.

— Хорошая, только у нея несчастная страсть всѣхъ сватать.

Рядновъ выпрямился точно на пружинѣ.

— И васъ также?

И онъ принужденно усмѣхнулся.

— Да... И меня.

—. За кого же это? Позвольте васъ спросить, если вы не сочтете это за нескромность?

— Вы какъ будто на меня сердитесь?

— Нѣтъ, помилуйте, на что же... Развѣ я имѣю право сердиться... Вы вольны поступать, какъ вамъ угодно.

Раздраженіе его все росло и росло. Онъ самъ чувствовалъ, что дѣлается нелогиченъ, и чѣмъ больше понималъ свою неправоту, тѣмъ больше злился на нее, на эту дѣвушку, такъ покойно и красиво усѣвшуюся въ уголкѣ и такъ пытливо глядящую на него въ эту минуту.

— Мнѣ только хотѣлось бы знать... Это такъ понятно... Я вѣдь,—заставилъ онъ себя опять улыбнуться, но улыбка вышла совсѣмъ не искренняя,—я вѣдь считаю себя вашимъ другомъ.

Странное дѣло, чѣмъ тяжелѣе и больнѣе было ему, тѣмъ спокойнѣе становилась дѣвушка. И откуда она, только что выскочившая изъ обители, могла научиться этому

знанію сердца, этому умѣнью владѣть собою? Не входятъ ли они въ общую сумму того, что мы называемъ женскимъ инстинктомъ?

— Еще бы... Развѣ я стала бы скрывать отъ васъ... Тамъ у нея завелся какой-то молодой и богатый кіевскій помѣщикъ... Красинскій...

— Какже, — угрюмо проговорилъ Рядновъ, — какже, знаю... Былъ у меня, купилъ вотъ эту мазню.

И онъ злобно толкнулъ мольбертъ со стоявшею на немъ и почти оконченною картиной. Толкнулъ ногой грубо и несдержано, такъ что треножникъ вмѣстѣ съ работой рухнулъ на полъ. Вѣрочка вздрогнула.

— Ну, и что же вы отвѣтили Маріи Францовнѣ?

— Ничего.

— То-есть, какъ-же это ничего? Вѣдь нужно же было что-нибудь сказать ей.

— Зачѣмъ же... Что же я могу ей сказать... Вѣдь я вовсе не собираюсь замужъ. Не засмѣяться же мнѣ ей въ лицо, какъ она того стоила. Обидѣлась бы

Но за то онъ засмѣялся—и на этотъ разъ искренно, весело, даже самъ не замѣчая крайней непослѣдовательности переходовъ отъ одного ощущенія къ другому.

— Ну, она вообразитъ, что вы подаете ей надежду.

— Нѣтъ, не вообразитъ.

— Почему вы думаете?

— Потому... Потому что она тотчасъ же сдѣлала другое предположеніе.

— Не будетъ нескромностью спросить: какое?

Вѣрочка, не смотря на все свое самообладаніе, вспыхнула и затруднялась, что ей отвѣтить. Она не научилась еще въ мірѣ скрывать что-нибудь.

— Ну же, Вѣра Николаевна.

Она опять молчала. Только задышала сильнѣе и отвела свои искренніе и довѣрчивые глаза отъ его вопросительнаго взгляда въ упоръ.

— Этого... Этого я вамъ сказать не могу...

Рядновъ вдругъ просіялъ и зашагалъ по комнатѣ.

— Она, въ сущности, очень хорошая, хотя и нѣмка, эта Марья Францовна... Или полька?.. Да, бишь, о чемъ это я... Киръ-царь-Персидскій!..—и онъ уже совсѣмъ некстати засмѣялся еще разъ.— Иначе: шутъ гороховый... Такъ что же она вамъ выпалила еще? А...

— Я ужъ вамъ сказала, что нельзя...

— Жаль... Эхъ, свахи-свахи!.. Коли бы не старость моя... Не уступилъ бы я васъ никому!..

Сказалъ и самъ испугался. Незамѣтно посмотрѣлъ на нее. Вѣрочка молчала, перебирая кисть подушки и глядя внизъ, точно ее заинтересовалъ вдругъ затѣйливый узоръ восточнаго ковра, покрывавшаго тахту... Онъ замѣтилъ только, что она точно вдругъ поблѣднѣла и тотчасъ же опять румянецъ залилъ ея лицо.

— Да... Лѣтъ бы десять-пятнадцать долой... Другое бы я запѣлъ.—И вдругъ онъ осмѣлился сразу, какъ въ воду кидаются, внизъ головой.—Ужъ не на мой ли счетъ она прохаживалась?..

Вѣрочка молчитъ, только часто-часто дышетъ.

— Да?.. На мой?..—онъ чувствовалъ будто ужасно глупѣетъ въ эту минуту. — Ну, что же, и на этотъ разъ ошиблась... Развѣ она не понимаетъ, что въ мои лѣта я только и могу ждать отъ васъ одного чувства,—чувства уваженія и дружбы... Не такъ ли?.. Въ самомъ дѣлѣ, ну представьте, если бы я вдругъ подошелъ къ вамъ и сказалъ... Онъ слышалъ, какъ голосъ его перервался въ горлѣ и вдругъ сдѣлался хриплымъ, — подошелъ и сказалъ (онъ усмѣхнулся и опять дѣланно): Вѣрочка, будьте моей женой... Воображаю, какъ бы вы удивились!..

Но она не удивилась...

Нѣтъ, вдругъ уронила свою голову на подушку и заплакала.

— О чемъ, о чемъ вы?—растерялся Рядновъ. — Что съ вами?

Онъ подошелъ, взялъ ее за руку, но она вдругъ притянула его руку къ себѣ и поцѣловала ее...

$ 10

3 6105 028 906 225

PG3467
N4P6
1903

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

SPRING 1979